

Максим Власов

**Карта
образованного
ума**

**Квинтэссенция европейской
мысли**

Максим Власов

Карта образованного ума

«Автор»

2026

Власов М.

Карта образованного ума / М. Власов — «Автор», 2026

Образование — это не склад фактов, а оптика взгляда. Эта книга сплавляет мудрость Декарта, Монтеня, Гегеля и Энгельса с жестким анализом власти, о котором принято молчать. Вы получите пять линз, чтобы видеть изнанку реальности: от скрытых игр элит до противоречий собственной души. Это не сухая теория, а инструмент навигации в хаосе современности. Научитесь думать так, чтобы мир перестал быть набором случайностей и стал системой, которой можно управлять.

© Власов М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Введение. О замысле этой книги	5
Глава первая. Сомнение как начало пути	7
Глава вторая. Метод, который проясняет ум	12
Глава третья. «Я мыслю, следовательно, я существую»	16
Глава четвёртая. Человек, который написал себя	21
Глава пятая. Принадлежать самому себе	26
Глава шестая. Мир, который никогда не спит	32
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Карта образованного ума

Введение. О замысле этой книги

Школьные и университетские годы оставляют после себя странный осадок. Нам годами внушают, что образование — это склад. Туда свозят даты, формулы, чужие мысли и громкие имена. Но стоит переступить порог учебного заведения и столкнуться с живой, непредсказуемой реальностью, как этот склад оказывается бесполезным. Ни одна заученная дата не подскажет, как принять трудное решение. Ни одна формула не утешит в минуту отчаяния. Знание остаётся мёртвым грузом, а способность мыслить часто так и не пробуждается.

Подлинное образование начинается там, где заканчивается зубрёжка. Оно приходит только после тех книг, которые заставляют мир двоиться, а затем собираться заново — уже в ином, более ясном качестве. Такие книги не просто сообщают сведения. Они меняют саму оптику взгляда.

Замысел этого труда — сплавить в единое целое пять великих учений, каждое из которых поодиночке способно перевернуть сознание. Четыре из них хорошо известны: «Рассуждение о методе» Рене Декарта, «Опыты» Мишеля Монтеня, «Наука логики» Георга Вильгельма Фридриха Гегеля и «Анти-Дюринг» Фридриха Энгельса. Пятая книга стоит особняком. Это современное, жёсткое и беспощадно точное исследование анатомии власти и устройства элит. Я намеренно не называю ни её заглавия, ни имён её создателей.

Эта работа обладает такой разрушительной ясностью, что её название должно оставаться секретом — пусть читатель встретится с ней лицом к лицу лишь тогда, когда его ум пройдёт все предыдущие ступени и будет готов выдержать эту правду. Ни один из этих пяти источников не даёт успокоительных ответов. Все пять учат иному: они заставляют по-новому ставить вопросы.

Эта книга выстроена как путь. Она начинается с сомнения — с того единственного движения ума, которое отделяет живую мысль от мёртвой догмы. Затем она ведёт читателя к самопознанию, ибо сомневающийся рано или поздно замечает, что сомневается именно он сам, и ему необходимо понять, кто же он такой. Далее открывается диалектика [способ мышления, при котором предмет рассматривается через его внутренние противоречия и их непрерывное развитие] — взгляд на мир как на становление, где всё живёт, движется и спорит с самим собой. От диалектики мысль поднимается к системе, осознавая, что реальность не есть набор разрозненных предметов, а есть единая ткань взаимных связей.

И наконец, от системы мы переходим к власти, потому что любая человеческая конструкция, какой бы возвышенной она ни казалась, в конечном счёте держится на отношениях одних людей с другими. Пять книг здесь работают как пять линз, наведённых на одну и ту же действительность.

Моя задача состояла не в том, чтобы добросовестно пересказать классиков. Пересказ убивает мысль. Мне нужно было кристаллизовать из их трудов самое сильное, отшлифовать и перевести на язык, понятный любому вдумчивому читателю. Каждая из пяти книг-источников по-своему трудна. Гегель писал так, что современники всерьёз советовали перед чтением его трудов отказаться от здравого смысла. Декарт сух и геометричен. Монтень растекается, словно река в весеннее половодье. Энгельс полемичен и порой гневлив.

А пятая, скрытая от нас пока книга, написана изнутри традиции, предполагающей у читателя немалую подготовку. Этот труд снимает с великих источников академическую корку и обнажает их живое ядро — ту самую мысль, ради которой они когда-то были созданы.

Книгу можно отдать в руки старшекласника, который только начинает подозревать, что от него скрывают нечто важное, и она не покажется ему заумной. Её прочитают и люди с

сединой на висках, уже умеющие жить, но желающие понять скрытые механизмы собственной судьбы. Здесь не требуется предварительной философской подготовки. Любой сложный термин объясняется при первом появлении в квадратных скобках. Любая отвлечённая мысль немедленно опирается на пример из повседневности, на исторический сюжет или на простую житейскую аналогию.

В конечном счёте эта книга учит не тому, что думать, а тому, как думать. И в этом смысле она способна заменить изрядную долю того, что мы по привычке называем образованием.

ЧАСТЬ I. ПРОБУЖДЕНИЕ УМА

Глава первая. Сомнение как начало пути

В ноябре тысяча шестьсот девятнадцатого года баварские холода пробирали до костей, и двадцатичетырёхлетний французский дворянин Рене Декарт, служивший военным инженером в армии герцога Максимилиана, искал убежища от стужи. Он нашёл небольшую, хорошо натопленную комнату с изразцовой печью и заперся в ней, решив провести несколько дней в абсолютном одиночестве. Позже он назовёт эти дни самым плодотворным временем своей жизни.

Тепло печи, густая тишина, отсутствие внешних раздражителей и человек, который впервые по-настоящему, без оглядки на авторитеты, задал себе один-единственный, разрушительный вопрос: а что я в действительности знаю? Не что мне говорили учителя, не что я вызубрил из книг, не то, что принято считать истиной в приличном обществе, а что знаю именно я, так, чтобы мог поручиться за это собственной жизнью и разумом.

Этот вопрос, прозвучавший в натопленной баварской комнате, и есть точка отсчёта всей современной европейской мысли. Не потому, что до Декарта никто не сомневался. Сомневались и древние греки, и средневековые схоласты, и скептики Возрождения. Но Декарт совершил поступок иного порядка: он превратил сомнение из мимолётного настроения в строгий метод, из случайного ощущения интеллектуального дискомфорта в осознанный, беспощадный инструмент. С этого превращения и начинается наша книга, ибо без умения сомневаться ни один из последующих инструментов мысли попросту не заработает.

Чтобы понять, что именно заставило Декарта усомниться во всём, нужно представить себе масштаб его образования. Он окончил иезуитский колледж Ла-Флеш, одно из лучших учебных заведений тогдашней Европы, где восемь лет изучал латынь, греческий, философию, математику, теологию, право и медицину. Школа считалась образцовой, преподаватели — лучшими умами эпохи, а программа — самой современной. Юный Декарт был одним из способнейших учеников и по окончании колледжа оказался, по его собственному признанию, одним из самых учёных людей своего поколения. И вот, выйдя из стен школы с тяжёлым грузом энциклопедических знаний, он обнаружил нечто странное и тревожное: образованные люди вокруг него спорят обо всём на свете и ни в чём не сходятся. Юристы несогласны с юристами, философы опровергают философов, теологи проклинают теологов. Каждый уверяет, что истина на его стороне; каждый ссылается на непререкаемые авторитеты; каждый искренне возмущается слепотой противников. Если бы образование давало знание, рассуждал Декарт, образованные люди неизбежно сходились бы в главных вопросах. Но они расходятся.

Следовательно, то, что им дали в школе и университете, не есть знание. Это нечто иное — мнение, традиция, культурная привычка, наконец, просто заученные формулы, которые при первой же серьёзной проверке рассыпаются в прах.

Эта декартова интуиция не только не устарела за четыре столетия, но и обрела новую, пугающую остроту. Представим себе двух современных молодых людей, Аристарха и Снеткова, получивших блестящее образование в престижных университетах. Аристарх изучал экономику и историю, Снетков — социологию и политологию. Оба начитаны, оба владеют сложной терминологией, оба уверены в своём понимании мира. Но стоит им заговорить о причинах исторических кризисов, о природе справедливости или о механизмах работы рынков, как выясняется, что они живут в совершенно разных реальностях. Аристарх считает, что история движется рациональными интересами, а рынок — естественная среда человеческого процветания. Снетков с пеной у рта доказывает, что история есть череда иррациональных катастроф, а рынок — лишь ширма для скрытых властных группировок. Оба оперируют фактами, оба цитируют классиков, оба искренне презирают наивность оппонента.

Если бы университетское образование давало знание, Аристарх и Снетков в конечном счёте пришли бы к единому знаменателю. Но они расходятся, оставаясь каждый при своём. А значит, и сегодня, как и во времена Декарта, то, что мы по привычке называем образованием, есть не знание, а набор сведений, чужих мнений, доверие к авторитетам и ловкость в жонглировании концепциями.

Человеческий ум устроен так, что ему легче хранить чужие мнения, чем добывать собственные. Это закон когнитивной экономии. Думать самостоятельно — значит тратить колоссальное количество энергии, терпеть неопределённость и рисковать ошибиться. Гораздо проще принять на веру то, что говорит учитель, книга или общественное большинство. Так ум превращается в склад, где пылятся чужие выводы. И первый шаг к подлинному образованию состоит в том, чтобы увидеть этот склад со стороны и понять: большая часть того, что я считаю своим знанием, на самом деле лишь чужое мнение, принятое на веру из-за страха перед пустотой.

Здесь и появляется ключевое понятие, без которого всё дальнейшее движение мысли невозможно, — методическое сомнение [приём, при котором мыслящий добровольно и последовательно подвергает сомнению все свои убеждения, чтобы найти то, что не поддаётся сомнению]. Сразу нужно сделать важнейшую оговорку: речь идёт не о скепсисе в обыденном, обывательском смысле. Обыденный скептик сомневается, чтобы остановиться и снять с себя ответственность. Он говорит: «Я ни в чём не уверен, истина непознаваема, поэтому ничего не буду утверждать и ни во что не буду вмешиваться». Скептик стоит на месте, его сомнение — это удобная подушка, на которой можно спокойно спать, не забывая голову сложными мыслями. Декарт сомневается иначе — чтобы двинуться дальше. Он говорит: «Я подозреваю всё, что знаю, и проверяю каждое утверждение, как проверяют монету на зуб. То, что выдержит проверку, я принимаю как фундамент; то, что не выдержит, безжалостно отбрасываю».

Сомнение у Декарта — это инструмент, а не мировоззренческая позиция. Это различие принципиально: декартово сомнение — это не итог размышлений, а начало пути, не конец мысли, а её отправная точка. Без этого различия Декарт остался бы одним из многих салонных скептиков; с ним он становится архитектором нового разума.

Чтобы почувствовать разницу, обратимся к трём сравнениям. Первое: сапёр на минном поле. Сапёр подозревает каждый квадратный сантиметр земли. Он не проходит мимо подозрительного бугорка, не отмахивается от странной проволоочки, не доверяет даже собственным следам, оставленным час назад. Но он делает это не для того, чтобы вечно стоять на краю поля, парализованный страхом. Он проверяет землю, чтобы найти безопасный путь. Его подозрение инструментально: оно работает на движение, а не против него. Второе сравнение: путник, который проверяет каждый камень под ногой прежде, чем наступить. Он делает это не из ненависти к камням, а из желания дойти до вершины горы, не сорвавшись в пропасть. И третье: хирург, который очищает рану от омертвевших тканей, чтобы потом её зашить. Очистка причиняет боль, она выглядит как разрушение организма, но это необходимая подготовка к исцелению.

Точно так же декартов сомневающийся проверяет свои убеждения не ради самого сомнения и не из любви к разрушению. Декартово сомнение есть подготовка к знанию, а не отказ от него.

Что же именно Декарт отправляет под сомнение и в каком порядке? Этот порядок не случаен; он выстроен как лестница, ведущая от самого очевидного к самому глубокому, от поверхности восприятия к самим основаниям разума. Первое, что попадает под подозрение, — показания чувств. Мы привыкли безоговорочно доверять глазам и ушам: я вижу дерево — значит, дерево есть; я слышу голос — значит, кто-то говорит. Но чувства обманывают. Прямая палка, опущенная в воду, кажется сломанной. Далёкая башня кажется круглой, хотя она квадратная. Больной глаз видит пятна, которых нет, а усталый слух различает шорохи в тишине. Если чувства обманывают хоть раз, а они обманывают постоянно, — им нельзя доверять без оговорок. Декарт не говорит, что чувства всегда лгут. Он формулирует куда более строгий

принцип: раз чувства иногда лгут, я не могу считать абсолютно надёжным ничего, что получено только через них. Может быть, и весь окружающий меня мир — лишь одна большая, безупречная иллюзия, устроенная тем, кто меня обманывает.

Второе, что отправляется под сомнение, — убеждения, основанные на обычае и привычке. Каждый из нас с детства впитывает множество мнений от родителей, от учителей, от сверстников, из книг и газет. Мы привыкаем к ним, как привыкаем к родному языку, и перестаём их замечать, принимая за самую ткань реальности. Но обычай у каждого народа свой. То, что кажется очевидным и священным жителю одной эпохи, кажется абсурдным и кощунственным жителю другой. То, что для одной культуры является основой нравственности, для другой — тяжкое преступление. Если бы обычай давал знание, все народы и эпохи сходились бы в главных вопросах. Но они расходятся. Следовательно, обычай — не источник истины, а источник привычек мышления, географическая и историческая случайность.

Декарт не отвергает обычай с порога — он просто ставит его под подозрение. Что-то в нём, может быть, и истинно, но чтобы отделить истинное от ложного, нужно проверить каждое положение заново, без оглядки на то, что «так принято» и «так делали предки».

Третье, что отправляется под сомнение, — даже математические истины, и это кажется уже чрезмерным, почти безумным шагом. Ведь два плюс два равно четырём независимо от того, кто считает, в какую эпоху и в какой стране. Декарт и сам признаёт, что математические истины кажутся самыми надёжными, они не зависят от капризов чувств или культурных обычаев. Но он ставит мысленный эксперимент, который навсегда изменил эпистемологию: а что, если существует злой гений [гипотетическое существо, единственная цель которого — вводить меня в заблуждение даже в самых очевидных вещах]? Этот всемогущий злой гений устроил мой ум так, что я всякий раз ошибаюсь, когда считаю, и искренне верю в то, что дважды два — четыре, тогда как на самом деле это не так. Я не могу доказать, что такого гения нет. Я не могу выйти из собственного ума и посмотреть на математику снаружи, со стороны.

Поэтому даже математические истины, при всей их кристальной очевидности, я обязан поставить под подозрение. Если я не могу исключить злого гения, я не могу быть уверен ни в чём, что происходит в моей голове.

К этому моменту, а Декарт подвёл себя к нему сознательно, шаг за шагом, сжигая за собой все мосты, — под сомнением оказывается абсолютно всё. Мир вокруг меня, может быть, не существует. Моё тело, может быть, не моё. Мои воспоминания, может быть, вложены в меня тем же злым гением. Мои логические и математические знания, может быть, ложны. Ничто не устояло. Ничто не осталось таким, в чём я мог бы быть уверен. Это очень страшное, экзистенциально неприятное положение. Человеку, оказавшемуся в нём, кажется, что он висит в абсолютной пустоте, без опоры, без направления, без точки отсчёта.

Именно в этой звенящей пустоте и больше нигде — Декарт и находит то, что искал. Но об этом открытии речь пойдёт в третьей главе. Здесь же важно другое: довести сомнение до конца. Не отступить на полпути, не сказать себе: «ладно, большинству-то вещей я могу доверять, зачем доводить до абсурда». Декарт настаивает: половинчатое сомнение бесполезно и даже вредно. Если я сомневаюсь в чём-то, я должен сомневаться во всём, что связано с этим «чем-то». Иначе я обманываю себя: делаю вид, что занимаюсь философией, а на деле просто перекрашиваю фасад ветхого здания, оставляя гнилые стены нетронутыми.

Здесь нужно сделать важное уточнение, без которого декартово сомнение легко понять превратно и использовать во зло. Сомнение Декарта — не есть отказ от веры и не есть презрение к знанию. Декарт был верующим католиком и не собирался подрывать религию. Он был гениальным математиком и преклонялся перед математической истиной. Его сомнение — методическое, то есть оно применяется ради определённой цели и снимается, когда цель достигнута. В этом его принципиальное, непреодолимое отличие от сомнения цинического. Циник сомневается, чтобы оправдать собственное безразличие и трусость: «Я ни в чём не уве-

рен, всё равно все лгут, поэтому не буду ни во что вмешиваться и буду думать только о своей выгоде».

Декарт сомневается, чтобы обрести ясность: «Я подозреваю всё, чтобы найти то, что выдержит любое подозрение». Циник использует сомнение как щит, за которым прячется от мира; Декарт использует его как кирку, чтобы пробиться сквозь толщу иллюзий к самому основанию реальности. Разница не в приёме, а в цели, и эта разница решающая. Один и тот же вопрос «а правда ли это?» может быть началом великой мысли и концом всякой мысли — в зависимости от того, кто его задаёт и зачем.

Это различие — между сомнением ради истины и сомнением ради бездействия — станет одним из сквозных мотивов всей нашей книги. Мы встретимся с ним снова, когда будем говорить о диалектике Гегеля [где противоречие есть двигатель мысли, а не повод для её остановки], и когда будем говорить о власти [где трезвое видение устройства общества не должно скатываться в цинизм и равнодушие]. Сейчас, в первой главе, важно закрепить простую, но требующую мужества мысль: декартово сомнение — не позиция, а практика. Не предмет веры, а то, что делают, и делают с ясной целью — очистить ум от чужих мнений и подготовить его к самостоятельному, ответственному мышлению.

Чтобы почувствовать, как эта практика работает, полезно применить её к какому-нибудь конкретному убеждению — не к абстрактным математическим истинам, а к чему-то из повседневной жизни, тому, что мы считаем само собой разумеющимся. Возьмём, например, утверждение, которое сегодня встречается почти у каждого и звучит из каждого утюга: «талантливый и трудолюбивый человек всегда пробьётся наверх». Многие из нас выросли с этим убеждением; оно звучало из уст родителей, учителей, героев книг; оно кажется почти очевидным, утешительным и справедливым.

Декартов сомневающийся берёт это утверждение и подвергает его безжалостной проверке. Первое: откуда я это знаю? Из наблюдения? Но я наблюдал множество талантливых и трудолюбивых людей, которые прожили жизнь в бедности, безвестности и тяжёлом труде, пока бездарные лентяи купались в лучах славы. От авторитета? Но авторитеты говорят разное: одни воспевают меритократию, другие утверждают, что миром правит случай и связи. Может из-за привычки? Но привычка ничего не доказывает, она лишь выдаёт желаемое за действительное. Или из желания, чтобы это было так? Но желание не есть аргумент, оно лишь признак нашей уязвимости перед жестокостью мира.

После такой проверки утверждение «талант всегда пробивается» уже не выглядит очевидной истиной. Оно выглядит скорее как пожелание, как утешение, как нравственная установка, призванная заставить людей работать, но не как знание о мире. И это уже колоссальное достижение: мы увидели разницу между тем, что я хочу считать истинным, и тем, что я в действительности знаю. Важная оговорка: то, что утверждение не выдержало проверки, не означает, что оно ложно. Может быть, в каких-то специфических условиях, в каких-то обществах, в каких-то исключительных случаях талант действительно пробивается.

Декартово сомнение не выносит окончательного приговора. Оно лишь переводит утверждение из разряда «слепых очевидностей» в разряд «открытых вопросов». А вопрос уже можно исследовать: при каких именно условиях талант вознаграждается, а при каких — подавляется; какие общественные устройства поощряют способности, а какие — требуют покорности; что вообще значит «пробиться» — деньгами, властью, внутренним спокойствием. Так из категорического, не требующего доказательств лозунга рождается живое, пульсирующее исследование. И в этом — главное действие сомнения: оно не разрушает мысль, а пробуждает её. Утверждение, которое я принял на веру, не требует от меня ничего, кроме бездумного повторения. Утверждение, которое я поставил под вопрос, требует исследования, проверки, различения — то есть подлинной работы ума.

Тот, кто усвоил эту практику, не становится циником. Он не начинает ходить по улицам и говорить каждому встречному: «А ты уверен? А откуда ты знаешь? А может, всё не так?». Сомнение как внешняя поза утомительно и для самого сомневающегося, и для окружающих, оно превращается в дешёвый троллинг. Но сомнение как внутренняя практика — тихое, не демонстративное, беспощадное к самому себе — становится частью мышления. Человек, владеющий этой практикой, не верит первому встречному утверждению, но и не отвергает его огульно, как это делают фанатики. Он удерживает его в подвешенном состоянии до тех пор, пока не проверит. Это подвешенное состояние — не нерешительность и не слабость характера. Это высшая честность ума перед лицом сложности мира. Ум, способный выдержать подвешенное состояние, не бросаясь ни в безоговорочное согласие, ни в безоговорочное отрицание, — это уже не наивный ум. Это ум, начавший путь к образованию в подлинном смысле слова.

Здесь уместно задать один вопрос, который сам Декарт не формулировал в явном виде на этом этапе, но который неизбежно возникает у внимательного читателя, оказавшегося вместе с философом в баварской комнате. Если всё ставится под сомнение, если чувства лгут, обычаи случайны, а математика может быть иллюзией злого гения, то кто же сомневается? Кому нужен этот титанический труд, если в итоге всё равно ничего не остаётся? Этот вопрос — не придирка, а ключ ко всей европейской философии. Декарт заметил, что в самом акте сомнения скрыто нечто, что сомнению не поддаётся. Сомневаться может только тот, кто мыслит; мыслить может только тот, кто существует. Сам акт сомнения — неважно, обоснованного или нет — уже доказывает существование сомневающегося.

Из этого наблюдения вырастает знаменитая формула «я мыслю, следовательно, я существую», которой будет посвящена третья глава. Но прежде чем перейти к ней, нужно сделать ещё один шаг, которому посвящена вторая глава: нужно превратить сомнение в метод. Сомнение, даже доведённое до конца, ничего не даст, если за ним не последует движение мысли по определённым правилам. Без правил сомнение превращается в разрушительный скепсис, а скепсис не строит. Правилам же мысли — методу, как его называл Декарт, — посвящена следующая глава нашей книги.

Глава вторая. Метод, который проясняет ум

Сомнение, каким бы целительным оно ни было, остаётся лишь расчисткой места. Если за ним не следует движение мысли по строгим правилам, оно застывает в бесплодном скепсисе. Скептик умеет разрушать, но не умеет строить. Декарт прекрасно понимал эту опасность, и потому рядом с радикальным сомнением он поставил второе, созидательное понятие — метод. Это слово не просто красивый термин; оно восходит к греческому выражению, означающему «путь вслед за чем-то».

Декарт имел в виду именно путь — неспешную, последовательную поступь разума, ведущую от хаоса впечатлений к кристальной ясности знания. Без метода мысль мечется, словно путник без компаса в зимнем лесу: каждый шаг кажется верным, а в итоге человек обнаруживает себя на том же месте, замерзающим и обессиленным. С методом мысль идёт уверенно, как путник, сверяющийся с картой: пусть не быстрее, зато точно к цели.

Чтобы почувствовать разницу, представим двух людей, Леонтия и Мануйлова, оказавшихся в незнакомом, запутанном городе и желающих прийти к нужному дому. Леонтий идёт без плана: сворачивает туда, где красивее витрины, заглядывает в случайные переулки, теряет время, возвращается на перекрёстки, где уже был, и через час блужданий с досадой понимает, что не продвинулся к цели ни на шаг. Мануйлов действует иначе: он заранее наметил маршрут — сначала до центральной площади, оттуда до фонтана, затем третий поворот направо, и через двадцать минут он уже стоит у нужного крыльца. Разница не в скорости шага и не в физической выносливости. Разница в наличии внутренней геометрии движения.

Точно так же и в мышлении: можно быть блестяще начитанным, обладать быстрым и острым умом, но мыслить хаотично, потому что нет метода. А можно не блистать эрудицией, но мыслить безупречно точно. Декарт не уставал повторять, что средний ум, вооружённый верным методом, продвинется дальше, чем гениальный ум, предоставленный самому себе. Это не утешение для посредственности, а суровый приговор гениальности, не ведающей дисциплины.

В своём знаменитом трактате Декарт сформулировал четыре правила, составляющие скелет этого метода. Важно понять: это не четыре разных инструмента, лежащих в ящике по отдельности. Это четыре фазы единого, непрерывного движения мысли. Их нельзя применять выборочно; выпадение любого из них обрушивает всю конструкцию. Чтобы постичь декартов метод, нужно сначала рассмотреть каждое правило вблизи, а затем увидеть их нерасторжимое единство.

Первое правило — правило очевидности. Декарт требует принимать за истинное лишь то, что представляется уму столь ясно и отчётливо, что не оставляет ни малейшего повода для сомнения. На первый взгляд, это звучит как банальность: кто же станет верить в сомнительное? Но вся сила правила кроется в том, что именно Декарт считает ясным и отчётливым. Ясное — это то, что открыто внимательному взору, как предмет при ярком солнечном свете. Отчётливое — это то, что имеет строгие границы и не смешивается с соседними понятиями. Образец такой кристальной ясности Декарт находит в геометрии: утверждение о том, что через две точки можно провести лишь одну прямую, видится уму настолько непреложным, что спорить с ним невозможно. Кто бы ни думал об этом и в какую бы эпоху он ни жил, он не способен усомниться в этой аксиоме, если вообще способен мыслить.

Однако здесь таится ловушка. Правило очевидности отнюдь не разрешает доверять всему, что кажется очевидным лично мне. Многим людям многие вещи кажутся само собой разумеющимися: кому-то очевидно, что тяжёлые тела падают быстрее лёгких, кому-то — что человеком движет исключительно корысть. Все эти субъективные ощущения при ближайшем рассмотрении рассыпаются. Декартово правило говорит не о спонтанном чувстве уверенности, а об очевидности, прошедшей через горнило методического сомнения. Истинно лишь то, что

выдержало самую безжалостную проверку. Без этого уточнения правило очевидности превращается в индульгенцию для любого предрассудка.

Второе правило — правило анализа. Каждая сложная проблема должна быть разделена на столько простых частей, сколько необходимо для её разрешения. Смысл этого приёма в том, что сложное непрозрачно для разума, а простое — прозрачно. Пока проблема лежит перед нами монолитной глыбой, мы не знаем, с какой стороны к ней подступиться. Разбив её на составляющие, мы получаем элементы, с которыми можно работать.

Классический образец такого подхода — работа часовщика. Когда часы останавливаются, мастер не пытается починить их одним магическим ударом. Он разбирает механизм на детали: вынимает пружину, снимает шестерёнки, отделяет балансир. Каждую деталь он осматривает отдельно, находит треснувшую, заменяет её и собирает всё в обратном порядке. Часы идут. В мышлении действует тот же закон: неподъёмную задачу нужно расчленить на элементы, каждый из которых можно рассмотреть под лупой.

Но здесь есть тонкость, о которую часто спотыкаются. Делить нужно на подлинно простые, неделимые далее части, а не на куски, которые лишь немного меньше целого. Если, пытаясь понять причину размолвки с другом, я выделяю «мои поступки», «его слова» и «внешние обстоятельства», я не продвинулся ни на шаг, ибо каждый из этих кусков сам по себе огромен и запутан. Нужно идти глубже: какое именно моё слово прозвучало резко, в какой момент я почувствовал раздражение, что именно он ответил. Анализ работает только тогда, когда скальпель мысли доходит до самого дна, до атомарных фактов.

Третье правило — правило синтеза. Двигаться в мысли надлежит от самого простого к самому сложному, шаг за шагом, выстраивая строгий порядок даже там, где предметы по природе своей не предшествуют друг другу. Анализ без синтеза бесплоден: разобрать часы на детали — лишь половина дела, их нужно собрать обратно, причём в безупречной последовательности. Образец синтеза — сборка сложного механизма или, говоря языком повседневности, конструирование предмета из множества деталей по инструкции. Шаг за шагом, от простейших узлов к готовой конструкции. Пропустишь одну часть на первом этапе и на последнем вся конструкция встанет криво. В мысли происходит то же самое: знание разрозненных частей без понимания того, как они сцепляются, не даёт знания целого.

И тут Декарт делает ещё одно, поразительное по глубине замечание: порядок нужно выстраивать даже там, где вещи существуют одновременно. В реальности многие явления связаны сложной сетью взаимных влияний, где нет явного «до» и «после». Но человеческий ум не способен охватить эту сеть разом; он устроен линейно и движется последовательно. Поэтому мысль обязана навязать вещам искусственный, логический порядок, в котором они будут рассмотрены. Этот порядок не дан в самих вещах — он создаётся усилием разума. И именно в этом созидании порядка ум поднимается от пассивного созерцания к активному пониманию.

Четвёртое правило — правило полноты. Необходимо делать обзоры настолько всеохватные, а перечисления настолько обстоятельные, чтобы обрести абсолютную уверенность: ничего не пропущено. Нет ничего губительнее для мысли, чем почти завершённое рассуждение, в котором упущена одна, кажущаяся незначительной, деталь. Эта деталь, подобно камешку, попавшему в ботинок, сделает весь дальнейший путь мучительным, а в финале заставит переделывать всё с нуля.

Правило полноты требует от мыслящего высшей дисциплины: не только решить задачу, но и оглядеться, проверяя, все ли её грани учтены; не только собрать механизм, но и убедиться, что не осталось лишних винтиков. Это самое прозаичное, самое трудоёмкое и оттого самое часто нарушаемое из четырёх правил. Многие способны на вспышку озарения, на виртуозный анализ, на изящный синтез, но лишь единицы обладают терпением для скрупулёзной, занудной проверки полноты. Именно эта проверка отличает подлинное знание от гениальной догадки.

Чтобы увидеть, как эти четыре правила работают в сцепке, применим их к задаче, далёкой от академических высот, но знакомой каждому: к покупке автомобиля. Человек, лишённый метода, идёт на рынок, поддаётся очарованию блестящего кузова, совершает сделку на эмоциях и через полгода обнаруживает, что приобрёл источник бесконечных расходов и разочарований. Человек, вооружённый декартовым методом, действует иначе. Сначала он применяет правило очевидности: что для меня несомненно? Мне нужно средство передвижения для поездок на работу и редких выездов за город; мой бюджет строго ограничен. Всё, что выходит за эти рамки, отсекается.

Затем вступает правило анализа: задача дробится на составляющие — класс автомобиля, стоимость страхования, расход топлива, надёжность конкретных узлов, репутация продавца. Каждую часть он изучает отдельно. Далее работает правило синтеза: выстраивается жёсткая последовательность выбора — сначала определяется класс, затем марка, потом год выпуска, и только в конце — конкретная модель. И наконец, правило полноты: перед подписанием бумаг проверяется всё — от юридической чистоты до состояния подвески на подъёмнике, от истории обслуживания до наличия скрытых повреждений. Только после этого покупка перестаёт быть лотереей и становится осмысленным, просчитанным решением.

Подобный пример может показаться слишком приземлённым для книги, претендующей на философскую глубину. Но именно в повседневности проверяется подлинная сила любой теории. Декарт недаром настаивал, что его метод универсален и применим ко всему — от астрономии до медицины, от управления государством до ведения домашнего хозяйства. Если метод работает лишь в стерильных условиях геометрических доказательств, он бесполезен для обычного человека. Если же он работает в гуще жизни, он необходим каждому.

Тот, кто способен применить четыре правила к выбору автомобиля, с тем же успехом применит их к выбору спутника жизни, к оценке политического манифеста или к пониманию сложной экономической теории. Метод универсален потому, что он не зависит от условий; он задаёт саму форму работы разума.

Теперь необходимо сделать шаг, без которого всё сказанное останется лишь каталогом полезных советов. Четыре правила составляют единый организм, и ампутация любого из них убивает целое. Чтобы понять это, достаточно посмотреть, что происходит при нарушении баланса. Если есть очевидность, анализ и синтез, но нет полноты, мысль останавливается на полпути; получается точное, но фрагментарное знание, опасное тем, что создаёт иллюзию завершенности. Если есть очевидность, анализ и полнота, но нет синтеза, ум превращается в склад разрозненных фактов; получается музей деталей, для которых нет сборочного чертежа. Если есть очевидность, синтез и полнота, но нет анализа, рождается красивая, но пустая схема, не опирающаяся на факты и рассыпающаяся при первом столкновении с реальностью. Если же есть анализ, синтез и полнота, но нет очевидности, мысль трудолюбиво и тщательно выстраивает грандиозное заблуждение на ложном фундаменте. Только одновременное присутствие всех четырёх фаз рождает тот самый ясный ум, о котором мечтал Декарт.

Возникает резонный вопрос: почему метод, сформулированный четыре столетия назад, не устарел? Разве последующие века не принесли нам более совершенных инструментов познания? Наука и техника ушли невероятно далеко, но в том, что касается базовой архитектуры мышления, ничего принципиально нового не изобретено. Все позднейшие подходы — от строгого научного эксперимента до сложного системного анализа — суть лишь надстройки или уточнения декартова каркаса. А всё дело в том, что есть вещи, которые не устаревают. Декарт описал не модный принцип мышления своей эпохи, а неизменную анатомию человеческого интеллекта. А анатомия не устаревает.

Сегодня, когда на каждого из нас обрушивается лавина информации, ум, лишённый этого каркаса, просто захлёбывается. Мы проглатываем заголовки, не переваривая их; формируем

убеждения на основе одного случайного поста и тут же меняем их под воздействием следующего; перескакиваем с темы на тему, теряя нить.

Казалось бы, при таком изобилии данных мы должны стать мудрее. На деле же мы становимся слишком поверхностными в своих суждениях. Декартов метод — единственное противоядие от этого информационного отравления. Он учит отсекаать шум и начинать с того, что подлинно ясно. Он учит не глотать сложное целиком, а терпеливо разделять его. Он учит выстраивать логику, а не прыгать по верхам. Это звучит просто, но на практике требует колоссального усилия воли. Большинство людей мыслят импульсивно, повинувшись сиюминутным ассоциациям. Декартов метод — это искусство внутренней тишины и дисциплины, и приобщение к нему есть одна из главных задач этой книги.

Сказанное, однако, не означает, что декартов метод есть абсолютный и окончательный закон для всего сущего. У него есть свои границы, и мы обязательно столкнёмся с ними в дальнейших главах. Метод безупречно работает с задачами, которые можно расчлениить и собрать заново. Но есть сферы, где этот подход бессилён. Нельзя разобрать на простые детали живую душу другого человека или целостную ткань произведения искусства, не убив сам предмет изучения. Для этого нужен иной инструмент, и мы встретимся с ним в четвёртой главе, когда к нам присоединится Монтень с его искусством деликатного самонаблюдения. Метод требует ясности, но есть области человеческого бытия, где ясность недостижима и где приходится учиться жить в густом тумане противоречий, не впадая в безумие. Об этом расскажет Гегель во второй части книги.

Пока же важно уяснить другое: метод Декарта — это не крыша здания, а его несокрушимый фундамент. Без него всё последующее просто повиснет в воздухе. Сомнение, о котором мы говорили в первой главе, лишь расчищает строительную площадку. Метод — это чертёж, по которому возводится здание знания. Но чертёж — ещё не дом. Первое же несокрушимое знание, первый камень, который Декарт заложил в основание этого здания, он обнаружил в самом центре своего тотального сомнения. Он понял, что в самом акте сомнения скрыто нечто, что сомнению не поддаётся: сам акт мышления.

Из этого прозрения родилась знаменитая формула «я мыслю, следовательно, я существую», которой будет посвящена следующая глава. Сомнение расчищает землю, метод возводит стены, а открытие мыслящего «я» становится тем первым камнем, на котором держится всё остальное. К этому открытию мы теперь и обратимся.

Глава третья. «Я мыслю, следовательно, я существую»

Прошло несколько дней декартовой зимы у печи. Сомнение проделало свою разрушительную, но целительную работу: под ногами мыслителя оказалась звенящая пустота. Чувства обманывают — значит, им нельзя доверять. Обычай у каждого народа свой — значит, он не даёт знания. Даже математические истины, при всей их кристальной очевидности, могут быть подделаны злым гением [гипотетическим существом, единственная цель которого — вводить меня в заблуждение даже в самых очевидных вещах]. Под подозрением оказалось абсолютно всё: внешний мир, собственное тело, память, разум. Ничто не устояло.

В этом положении, казалось бы, оставалось только одно — опустить руки и признать, что никакого знания нет и быть не может. Но Декарт не опустил рук. Он сделал то, что делает подлинный исследователь, дойдя до самого края бездны: посмотрел ещё раз, нет ли под ногами чего-то, что он проглядел. И обнаружил, что есть.

В самом акте сомнения скрыто нечто, что сомнению не поддаётся. Чтобы сомневаться в собственном существовании, нужно существовать — хотя бы как сомневающийся. Чтобы быть обманутым злым гением, нужно быть тем, кого обманывают. Сам акт сомнения — неважно, обоснованного или нет, удачного или нет — уже доказывает существование сомневающегося. Если я сомневаюсь в том, что существую, само моё сомнение есть акт моего ума, а значит, мой ум существует, а значит, существую и я. Злой гений может обманывать меня во всём: в существовании внешнего мира, в истинности математики, в правдивости моих воспоминаний. Но он не может обманывать меня в том, что я существую, потому что для обмана нужен тот, кого обманывают, и этот самый «тот» и есть я.

Так из самого центра тотального сомнения вырастает первая несомненная истина: я существую. Не как тело, не как воспоминание, не как личность с биографией, а как мыслящий. Это и есть та точка опоры, которую искал Декарт.

Декарт записал эту мысль на латыни: *cogito ergo sum* — «я мыслю, следовательно, я существую». С тех пор эту формулу повторяли тысячи раз, её знают даже те, кто никогда не читал Декарта, она стала чем-то вроде пароля европейской культуры. Но за привычностью формулы легко потерять её живой смысл. Формулу повторяют, не задумываясь о том, что именно она означает, и потому она превращается в украшение, в философский значок, который носят, не понимая, к чему он прикреплён. Наша задача — вернуть формуле её первоначальную силу: разобрать её по частям, показать, что значит каждое её слово, и увидеть, что за ней стоит не просто удачная фраза, а один из самых плодотворных ходов мысли в истории.

Начнём с первого слова — «я». Что такое это «я», о котором идёт речь? Декартовское «я» — это не тело. Тело может быть подделано злым гением; может быть, у меня нет рук и ног, а есть лишь иллюзия, что они есть. Декартовское «я» — это не имя, не биография, не воспоминания. Всё это тоже может быть подделано: может быть, я не Рене Декарт, может быть, я не родился в тысяча пятьсот девяносто шестом году, может быть, у меня не было матери и отца, а есть лишь вложенные в мой ум ложные воспоминания. Декартовское «я» — это не социальная роль: не «я — дворянин», не «я — офицер», не «я — католик». Все эти определения внешние; все они могут быть сняты, и всё-таки что-то останется. Это «что-то» и есть то «я», о котором идёт речь в формуле. «Я» — это чистый субъект мышления, тот, кто сейчас читает эту страницу, тот, кто сейчас слышит собственные мысли, тот, для кого что-то вообще есть. Если убрать всё, что является частью меня — тело, имя, память, роли, — что останется? Останется сознание. Останется тот, кому принадлежали все эти вещи, и кто теперь продолжает принадлежать себе самому, даже когда эти вещи отняты.

Это декартовское «я» очень непохоже на то, что мы обычно понимаем под словом «я» в повседневной речи. В быту «я» — это человек с определённым именем, биографией, лицом,

голосом. Когда молодая женщина по имени Ия говорит «я пойду в магазин», она имеет в виду именно себя, со своим лицом, своими привычками и своей историей. Декартовское «я» — не это. Декартовское «я» — пустая точка, из которой смотрят; чистый наблюдатель, у которого отняли всё, кроме самого наблюдения. Сравнить его можно с тем, что иногда бывает во сне: человеку снится, что он кто-то другой — у него другая внешность, другое имя, другая биография; но тот, кому всё это снится, остаётся тем же. Этот «тот, кому снится» и есть декартовское «я». Не содержание сна, а тот, кому сон является. Не персонаж пьесы, а зритель в тёмном зале.

Теперь — второе слово: «мыслю». Что Декарт понимает под мышлением? Здесь тоже нужно отбросить привычное, повседневное значение слова. В обычной речи «мыслить» — значит рассуждать, решать задачи, формулировать мысли словами. Декарт понимает мышление гораздо шире. Под мышлением он понимает любое сознательное состояние: не только рассуждение, но и сомнение, желание, чувство, воображение, восприятие, волеизъявление — всё, что происходит в сознании и предполагает сознание. Если я чего-то хочу — я мыслю, потому что хочу сознательно. Если я чего-то боюсь — я мыслю, потому что боюсь сознательно. Если я вижу дерево — я мыслю, потому что вижу сознательно, и само моё видение есть акт моего сознания.

Декарт говорит: всё, что происходит во мне, поскольку я сознаю, что это происходит, есть мышление. Это широкое понимание важно: оно показывает, что формула *cogito* [мыслю] опирается не на какой-то особый род мыслительной деятельности, а на саму природу сознания как такового.

Это широкое понимание мышления имеет одно важное следствие, которое Декарт не раз подчёркивал. Сомневаться — тоже значит мыслить. Сомнение не есть нечто принципиально иное, чем утверждение; сомнение есть один из актов мышления, наряду с утверждением, желанием, восприятием. Поэтому формула «я сомневаюсь, следовательно, я существую» — лишь разновидность формулы «я мыслю, следовательно, я существую». Декарт специально обращает на это внимание: сомнение, доведённое до предела, не разрушает мышления, а напротив, его предполагает. Скептик, который говорит «я ни в чём не уверен», тем самым утверждает: «я сомневаюсь», а значит, «я мыслю», а значит, «я существую».

Самый последовательный скепсис, если он осознан, содержит в себе несомненную истину собственного существования. Этим Декарт наносит скептицизму удар, от которого тот уже не оправился: он показал, что скепсис опровергает сам себя, потому что сам факт скепсиса есть факт сознания, а значит, факт существования сознательного.

Третье слово: «существую». Существую как что? Декарт отвечает: существую как мыслящая вещь, то есть как сознание. Это существование не зависит от существования тела. Может быть, у меня нет тела; может быть, мои ощущения тела — иллюзия, устроенная злым гением; но даже если так, я всё-таки существую — как тот, кому эта иллюзия является. Декартовское «существую» — это прежде всего существование сознания. Тело может быть, а может не быть; сознание есть наверняка, потому что само сомнение в его существовании есть акт сознания. Этим Декарт вводит одно из самых влиятельных различий в истории европейской мысли: различие между двумя субстанциями [самостоятельными видами бытия, не сводимыми друг к другу] — мыслящей и протяжённой. Мыслящая субстанция — это сознание, дух, ум. Протяжённая субстанция — это материя, тело, пространство. Они принципиально различны: мыслящая не имеет протяжения, протяжённая не мыслит. Их соединение в человеке — загадка, над которой Декарт бился всю жизнь и которую так и не разрешил до конца. Но само различие осталось в европейской мысли надолго и до сих пор определяет, как большинство людей понимают самих себя.

Здесь нужно сделать важную паузу и задать вопрос, который ставит под сомнение весь ход декартова рассуждения. Можно ли рассматривать формулу «я мыслю, следовательно, я существую» как силлогизм [форму логического вывода, в которой из общего положения и част-

ного случая выводится заключение]? Если да, то формула имеет вид: «всё, что мыслит, существует; я мыслю; следовательно, я существую». Но в этом случае формула опирается на общую посылку «всё, что мыслит, существует», а эта посылка сама нуждается в доказательстве. Где гарантия, что она истинна? Может быть, существует нечто, что мыслит, но не существует; или существует нечто, что не мыслит, но всё-таки есть. Если общая посылка не доказана, силлогизм не работает. Декарт это понимал и настаивал: формула *cogito* — не силлогизм. Это непосредственное усмотрение ума, постижение, которое видится так же ясно и отчётливо, как геометрическая аксиома. Я не вывожу своё существование из общего правила; я вижу его непосредственно, в тот момент, когда мыслю.

Это различие принципиально. Если *cogito* — силлогизм, то декартово философское здание держится на одной из посылок, а эта посылка держится на чём-то ещё, и так до бесконечности. Если же *cogito* — непосредственное усмотрение, то оно есть точка опоры, на которой можно строить. Декарт выбрал второе, и именно поэтому его философия смогла стать началом новой традиции. Без этого выбора она осталась бы одной из множества силлогистических конструкций, которыми полна средневековая схоластика, и не более. С этим выбором она становится первым шагом нового способа мышления, в котором истина усматривается непосредственно, а не выводится из авторитетов.

Теперь нужно показать, какие последствия имеет формула *cogito* для всего дальнейшего. Декарт не остановился на этом открытии; он попытался построить из него всё здание знания. Ход его рассуждения был примерно таким. Раз я знаю, что существую как мыслящий, и знаю это с полной несомненностью, значит, мой ум способен схватывать истину — по крайней мере, в тех случаях, когда усмотрение так же ясно и отчётливо, как в случае *cogito*. Отсюда Декарт выводит критерий истины [признак, по которому можно отличить истинное знание от ложного]: истинным является всё то, что представляется уму столь же ясно и отчётливо, как собственное существование. Если моё суждение о чём бы то ни было видится мне с той же полнотой ясности, с какой я вижу, что я существую, это суждение истинно.

На этом фундаменте Декарт пытается построить знание о Боге, о мире, о математике, о физике. Большая часть этого построения сегодня устарела; но критерий ясности и отчётливости остался как одна из немногих попыток найти внутренний, не внешний признак истины.

Здесь, однако, Декарт столкнулся с трудностью, которую не разрешил до конца и которая преследует его философию до сих пор. Критерий ясности и отчётливости сам по себе проблематичен. То, что одному уму кажется ясным, другому кажется тёмным. Декарт считал ясным и отчётливым существование Бога и выводил его из самого понятия совершенства. Современный читатель, как правило, не находит в этом аргументе ясности. Декарт считал ясным, что ум и тело — две разные субстанции; сегодняшняя нейробиология показывает, что ум и тело теснейшим образом связаны, и провести между ними границу гораздо труднее, чем думал Декарт.

Получается, что критерий ясности работает в одних случаях и не работает в других; но как заранее отличить случаи, в которых он сработает, от случаев, в которых подведёт? Декарт отвечал: ясность не подведёт никогда, потому что Бог, существование которого доказано, не может быть обманщиком, а значит, не вложил в наш ум склонность к ошибке, когда мы усматриваем нечто ясно и отчётливо. Но этот ответ опирается на существование Бога, а доказательство существования Бога опирается на ясность. Получается круг.

Этот круг — знаменитый «декартов круг» [логическое затруднение, состоящее в том, что критерий истины и доказательство существования Бога у Декарта взаимно обосновывают друг друга]. На него указывали уже современники Декарта, и с тех пор он обсуждается в каждом курсе истории философии. Эта глава не претендует на его разрешение — это заняло бы слишком много места и увело бы нас далеко от главной темы. Здесь важно другое: формула *cogito*, взятая сама по себе, не зависит от декартова круга. Она работает и без последующих построений Декарта.

Даже если критерий ясности и отчётливости не универсален, даже если доказательство Бога не выдерживает критики, несомненность собственного существования как мыслящего остаётся. Я знаю, что я существую, в тот самый момент, когда об этом думаю; и это знание не зависит ни от каких дальнейших теорий. В этом сила *cogito*: оно держится само, без подпорок.

Чтобы почувствовать силу *cogito*, полезно применить его к конкретной ситуации. Представим человека, попавшего в тяжёлый жизненный кризис. Возьмём, к примеру, Тихона, у которого всё, на что он опирался, рухнуло: брак распался, работа потеряна, друзья разъехались, здоровье подорвано. Тихон сидит в пустой комнате и думает: «Ничего не осталось. Меня больше нет». В этот момент — если он ещё способен думать — он совершает тот самый акт, который Декарт открыл у печи. Сама его мысль «ничего не осталось, меня больше нет» есть акт его сознания, а значит, его сознание есть, а значит, есть и он. Не как прежний человек с прежней биографией — этой биографии, может быть, действительно больше нет. Но как мыслящий — есть. В этом пункте он не может отрицать себя, не утверждая себя. Это не утешение и не психологический трюк; это философское открытие, имеющее прямое жизненное значение. Человек, усвоивший *cogito*, не может быть раздавлен полностью никаким внешним крахом, потому что в самой середине краха остаётся он — мыслящий, сознающий, существующий.

Этот же ход мысли работает и в других предельных ситуациях. Когда человек сталкивается с сильной болью — физической или душевной, — у него есть выбор: либо отдаться боли и потеряться в ней, либо обратить внимание на то, что боль — это то, что ему является. Боль есть содержание сознания; сознание есть то, чему боль является. Боль может быть невыносимой; но тот, кому она является, не тождествен своей боли. Он есть даже тогда, когда боль, казалось бы, заполняет всё. Это не значит, что боль становится легче; но это значит, что в самой боли остаётся точка, не поглощённая болью, — точка наблюдающего сознания. Эту точку разные духовные традиции описывали по-разному; но само указание на неё, в европейской традиции, восходит именно к Декарту. Не к нему одному, но у него оно получило самую ясную формулировку.

Сказанное не означает, что декартово «я» — последнее слово в понимании человека. Напротив, в истории мысли после Декарта это «я» подвергалось множеству критик. Юм утверждал, что, заглядывая внутрь себя, он находит лишь отдельные восприятия, а не единое «я», которому они принадлежат. Кант разделил «я» эмпирическое [то, которое я знаю через внутреннее наблюдение самого себя] и «я» трансцендентальное [условие возможности всякого опыта, которое само не дано в опыте]. Гегель, к которому мы обратимся во второй части этой книги, показал, что «я» не есть неподвижная точка, а есть процесс самосознания, рождающийся из встречи с другим «я». Хайдеггер и экзистенциалисты двадцатого века сместили фокус с «я» как субъекта познания на «я» как на бытие-в-мире [человеческое существование, всегда уже находящееся в ситуации, а не изолированное сознание].

Все эти критики справедливы по-своему, и каждая из них что-то добавляет к картине. Но ни одна из них не отменяет того, что сделал Декарт. Декарт не сказал последнего слова о «я»; но он сказал первое, и без этого первого слова все последующие были бы невозможны.

Тут уместно задаться вопросом: какое отношение всё это имеет к образованию, к повседневной жизни, к тем людям, которые не читают философских трактатов? Самое прямое. Большинство людей живут, не задумываясь о собственном «я», и потому их «я» достаётся им в чужой упаковке. Человек думает, что он — это его работа, его семья, его политические взгляды, его вкусы. Когда работа меняется, он теряется. Когда семья распадается, он не понимает, кто он. Когда политические взгляды оспаривают, он воспринимает это как личное оскорбление. Он не знает того, что открыл Декарт: всё это — содержания сознания, но не само сознание. Содержания могут меняться, исчезать, заменяться другими; сознание, которому они являются, остаётся.

Человек, знающий это, держится и не ломается при любом крахе; человек, не знающий, разрушается при первом же. В этом жизненный смысл формулы *cogito*: не в философской тонкости, а в простой способности оставаться собой, что бы ни случилось.

Эту способность можно тренировать. Не обязательно читать Декарта, я это сделал за вас, чтобы теперь самые сливки его мыслей представить вам в этой книге, но можно проделать простое упражнение, восходящее к его методу. В любой момент жизни, особенно в момент сильной эмоции или сильного события, задать себе вопрос: кто тот, кто это сейчас испытывает? Не что я испытываю, а кто испытывает? И попытаться, не отвечая словами, обратить внимание на того, кто задаёт вопрос. Это не медитация в восточном смысле и не молитва; это просто применение декартова различения: содержания сознания — одно, сознание, которому они являются, — другое.

Упражнение это не даёт мистических откровений; но оно даёт то, что Декарт нашёл у печи: точку опоры, которая не зависит от того, что вокруг неё происходит. Точку, в которой человек принадлежит себе, даже если всё остальное у него отнято.

Здесь мы подходим к концу третьей главы и одновременно к концу декартовой части нашего пути. Декарт дал нам два инструмента: методическое сомнение, расчищающее ум от чужих мнений, и метод, движущийся по четырём правилам от ясности к ясности. Третий его дар — открытие той точки, в которой сомнение встречается с несомненностью: я существую как мыслящий. Этими тремя инструментами — сомнением, методом, *cogito* — мы теперь владеем. Но этого недостаточно.

Декартов «я» — пустая точка; Декарт нашёл её, но не наполнил. Чтобы понять, что в этой точке живёт, нужен другой ум — ум, который не боится смотреть внутрь себя не секунду, как Декарт, а годы, как Мишель де Монтень. Монтень провёл двадцать лет в башне своего замка, наблюдая собственное «я» во всех его изгибах, настроениях, противоречиях. То, что он там нашёл, станет предметом четвёртой главы. Декарт дал формулу; Монтень даст ей плоть.

Глава четвёртая. Человек, который написал себя

Декарт нашёл «я», но оставил его пустым. Его «я» оказалось точкой, лишённой содержания: не тело, не имя, не биография, не социальная роль, а чистый субъект мышления, тот, кому являлись все эти вещи. Это была великая находка, без которой всё последующее здание европейской философии просто рухнуло бы. Но точка, лишённая содержания, не может быть конечной целью познания. Она лишь начало, расчищенная площадка.

Чтобы понять, что именно живёт внутри этой точки, нужен был другой ум — ум, который не побоялся бы всматриваться в себя не одну секунду у натопленной печи, а долгие годы. Такой ум нашёлся. Его звали Мишель де Монтень, и он, как я уже сказал в конце предыдущей главы, провёл двадцать лет в круглой башне своего замка в Перигоре, наблюдая собственное «я» во всех его изгибах, настроениях и противоречиях. То, что он там обнаружил, и станет предметом этой главы.

Монтень родился в тысяча пятьсот тридцать третьем году в семье обеспеченного дворянина из Перигора, области на юго-западе Франции. Его отец, человек весьма необычный для своей эпохи, придумал для сына странное воспитание. Младенца отдали в деревню к крестьянской семье, чтобы он с первых дней впитал жизнь простых людей и не заразился дворянской спесью. Вернувшись в замок, мальчик учился у наставника, который не знал ни слова по-французски и говорил с ним исключительно по-латыни. Так латынь стала для Монтеня родным языком раньше, чем французский. Это причудливое воспитание наложило неизгладимый отпечаток на всё его мировоззрение: Монтень с детства усвоил, что привычное вовсе не обязательно является естественным.

Способ, которым его воспитали, был лишь одним из множества возможных, и не было никаких причин считать его единственно верным. Это раннее знание — один из тех невидимых фундаментов, которые делают человека способным к подлинному сомнению. Если Декарт пришёл к сомнению через университетскую схоластику, то Монтень — через собственное детство.

К тридцати восьми годам Монтень был уже не молод по меркам того бурного времени. Он успел побывать советником парламента в Бордо, должность, которую занимали люди образованные и влиятельные. Он успел наглядеться на ужасы гражданских войн между католиками и протестантами, разрывавших Францию на части. Он успел пережить самую тяжёлую утрату в своей жизни — смерть лучшего друга Этьена де Ла Боэси, потеря которого оставила в его душе зияющую пустоту. Испытывая утомление от мира и жажду заполнить эту пустоту, он ушёл в отставку. Монтень заперся в круглой башне своего замка, окружил себя книгами и начал писать. Он писал не трактат, не роман и не мемуары. Он начал писать о себе.

Поначалу он, вероятно, и сам не вполне понимал, что именно у него получается. Он садился за стол, открывал том Плутарха или Сенеки, выписывал то, что его задевало за живое, и добавлял от себя комментарии, воспоминания, мимолётные наблюдения. Постепенно собственные наблюдения стали вытеснять чужую мудрость. Книга росла, каждое новое издание становилось толще предыдущего, он дописывал и переписывал её до самого конца жизни. Эта книга получила название «Опыты», и это слово служит ключом ко всему, что в ней скрыто. Слово «опыт» у Монтеня — это не эссе в современном смысле, не литературный жанр с жёсткими правилами.

Французское слово *essai*, которое он выбрал, означает пробу, попытку, испытание [действие, направленное на проверку мысли или чувства, не претендующее на создание законченной и неизменной системы]. Монтень не излагает готового учения. Он пробует мысль на зуб, как пробуют золотую монету, чтобы понять, настоящая ли она.

Это различие принципиально. Система — это законченное построение, в котором всё связано со всем, каждая часть занимает строго отведённое ей место, нет пробелов и нет ничего лишнего. Будучи изложенной, она стоит словно хрупкое здание: пока его не трогают, оно держится. Декарт создавал именно такую архитектуру мысли. Гегель, к которому мы обратимся во второй части книги, возведёт самую грандиозную систему в истории европейской мысли. Монтень же систем не строил. Он делал нечто совершенно иное: всматривался в себя и в мир, фиксируя увиденное без малейшей претензии на окончательность.

Его книга — это не готовый дом, а лаборатория; не монумент, а дневник наблюдений. В одной главе он может нечто утверждать, в другой — сомневаться в этом, а в третьей — уточнять сказанное или вовсе противоречить самому себе. И в этом нет недостатка или слабости ума — такова сама суть его замысла. Ведь пробовать — значит заранее не знать, чем всё закончится.

Сказанное объясняет, почему Монтень считал, что писать нужно именно о себе. Многим его современникам, да и потомкам, это казалось эгоизмом и самовлюблённостью. Разве не верх тщеславия — двадцать лет описывать собственные настроения, свои привычки в еде, свой сон, свои страхи? Но Монтень не был самовлюблён. Он был предельно внимателен. И он понимал нечто, чего не понимали его критики: единственный человек, которого я могу изучать изнутри, — это я сам. Любой другой человек доступен мне лишь как внешнее поведение, как слова и поступки, которые я наблюдаю со стороны. Я не знаю, что происходит внутри него, я могу лишь строить догадки. Я же сам для себя — это не только внешняя оболочка, но и мысли, чувства, скрытые мотивы, тайные колебания, подлинные побуждения.

Поэтому изучение себя есть самый прямой и короткий путь к пониманию человека вообще. Монтень сформулировал это с поразительной точностью: каждый человек несёт в себе всю форму человеческого состояния. Если я разберусь в себе по-настоящему, без иллюзий и приукрашивания, я узнаю нечто важнейшее обо всех людях.

Эта мысль Монтеня стоит того, чтобы задержаться на ней подробнее. Она содержит в себе смелое предположение, которое отнюдь не очевидно. Предположение состоит в том, что человек вообще, везде и всегда, устроен принципиально так же, как я. Что мои страхи, мои желания, мои внутренние разломы — не моя исключительная особенность, а проявление того, что свойственно всякому. Что если я честно опишу себя, я опишу в главных чертах любого. Это предположение можно оспорить: возможно, люди устроены слишком по-разному, и мой внутренний опыт ничего не говорит о внутреннем опыте другого. Монтень не спорит с этим, он просто исходит из обратного. И его книга стала лучшим доказательством его правоты: четыре столетия люди читают «Опыты» и с изумлением узнают в Монтене себя. Человек из шестнадцатого века, дворянин, советник парламента, католик, оказывается ближе к нам, чем многие наши современники. Ближе именно потому, что он писал не о своём уникальном, а об обще-человеческом.

Что же нашёл Монтень, когда начал всматриваться в эту общую человеческую природу через призму самого себя? Он нашёл непостоянство. Это, пожалуй, самое постоянное из его наблюдений: человек не статичен. Один и тот же человек в разное время думает по-разному, чувствует по-разному, желает разного. Монтень приводит множество примеров из собственной жизни. То он твёрдо решает обуздать чревоугодие, то уже через неделю не может устоять перед лишним кубком вина. То он храбр в бою, то пасует перед обычной зубной болью. То он уверен в своих убеждениях, то минуту спустя его одолевают сомнения. То он великодушен, то мелочен. И всё это — не разные люди, а один и тот же человек, наблюдающий за самим собой в разные моменты. Из этого наблюдения рождается одна из центральных мыслей Монтеня: человек — это не нечто застывшее, а процесс, течение, непрерывное изменение. Понимать себя — значит не пытаться отыскать свою неизменную суть, а замечать, как именно ты меняешься.

Здесь Монтень парадоксальным образом вступает в диалог с Гераклитом, которого он, разумеется, читал. Гераклит утверждал, что в одну реку нельзя войти дважды, потому что и река меняется, и сам входящий. Монтень делает следующий, ещё более радикальный шаг: в реку нельзя войти даже один раз, потому что сам входящий — тоже река. В тот самый миг, когда я делаю шаг, я уже не тот, кем был мгновение назад. Моё намерение войти изменило меня, само действие изменило меня, прикосновение воды изменило меня. Я не могу остановиться даже на секунду, чтобы просто «быть», потому что в это самое мгновение я уже становлюсь другим. Это наблюдение Гераклита, доведённое Монтенем до бытовой, повседневной конкретности: течёт не абстрактная река — теку я сам, и именно поэтому не могу уловить себя как некую застывшую данность.

Чтобы почувствовать силу этого наблюдения, полезно применить его к простому жизненному опыту. Попробуйте вспомнить себя десятилетнего. Что вы тогда любили? Чего боялись? О чём мечтали? Если вы ответите честно, то обнаружите, что тот десятилетний ребёнок сильно отличается от вас сегодняшнего. Он любил то, к чему вы теперь совершенно безразличны, и боялся того, что сегодня кажется смешным. И всё-таки вы говорите: «Это был я». На каком основании? Не потому, что вы не изменились — напротив, вы изменились почти полностью. А потому, что существует непрерывность: каждое мгновение перетекало в следующее, и нигде не было разрыва. Вы — не застывшая сущность, а непрерывная нить изменений.

Возьмём для примера условного Фомичёва. Он твёрдо уверен, что обладает устойчивым характером, что всегда был таким и измениться не может, поскольку такова его неизменная природа. Монтень показывает, что уверенность Фомичёва — иллюзия. Мы кажемся себе прежними лишь потому, что наша память избирательна: она хранит то, что подтверждает наше представление о себе, и безжалостно отсекает всё, что ему противоречит. Внимательное наблюдение за собой разрушает эту иллюзию. В собственных записях Монтень обнаруживал противоречия, которых не замечал в повседневной жизни: это было свидетельством постоянной, не радикальной, но совершенно реальной изменчивости человека.

Иллюзия стабильного «я» выполняет важную защитную функцию: она даёт ощущение непрерывности, без которого жизнь рассыпалась бы на бессвязные осколки. Если бы я каждый день просыпался с ощущением, что я совершенно не тот, кем был вчера, я не мог бы строить планы, держать обещания, поддерживать отношения. Иллюзия стабильности — полезное упрощение, и Монтень вовсе не призывает полностью от неё отказаться. Он призывает к другому: осознавать, что это лишь упрощение. Понимать, что «я», которое мы считаем монолитным, на деле — история с непрерывным сюжетом, но постоянно меняющимися героями.

Это знание не разрушает жизнь, оно делает её неизмеримо гибче. Человек, знающий, что он меняется, не цепляется за прежние решения только потому, что когда-то их принял. Он готов пересмотреть их, когда меняются обстоятельства и меняется он сам. Тот же, кто этого не понимает, держится за решения, принятые совершенно другим человеком — его прежним «я», — и страдает от противоречия между тем, кем он был, и тем, кем стал.

Здесь нужно сделать одно важное уточнение, без которого мысль Монтеня легко понять превратно. Признать, что человек меняется, вовсе не значит согласиться с тем, что он меняется как попало, превращаясь в хаос сменяющихся состояний. Человек — это процесс, и, как любой процесс, он имеет свои ритмы, свои закономерности, свои повторяющиеся формы.

Монтень в «Опытах» постоянно возвращается к одним и тем же чертам: к лени, к страху смерти, к склонности к уединению. Эти особенности повторяются, но не как неизменные свойства, а как музыкальные мотивы, которые каждый раз звучат в новой тональности. Человек — не хаотичный набор случайных состояний, но и не неподвижная сущность. Он — мелодия, в которой один и тот же основной мотив проходит через бесконечное множество вариаций.

Такое понимание человека как мелодии, а не как статичной вещи, влечёт за собой важнейшее следствие для нашего отношения к окружающим. Если я — процесс, а не вещь, то и

другой — тоже процесс. Когда я вижу человека в конкретный момент, я вижу лишь один кадр из его жизни, одну вариацию его уникальной темы. Я не знаю всей этой музыки, не знаю, какие мотивы в ней уже прозвучали, а какие ещё прозвучат.

Поэтому нельзя судить о человеке по одному его поступку, по одному дню или мимолётному настроению. Это не значит, что мы должны отказаться от суждений вовсе. Это значит лишь то, что всякое наше мнение должно быть скромным, предварительным и готовым к пересмотру. Тот, кого я сегодня считаю жестоким, завтра может проявить милосердие — не потому, что вчера он притворялся, а потому что его жизненная мелодия сделала новый, неожиданный поворот.

Монтень не был первым, кто заметил непостоянство человеческой природы, — античные мыслители прекрасно об этом знали. Стоики [философская школа, учившая управлять своими реакциями на внешний мир и сохранять непоколебимый внутренний покой] стремились преодолеть эту изменчивость силой разума, выстроив внутреннюю броню, неуязвимую для смены настроений. Эпикурейцы пытались обойти её, укрывшись в своем саду тихой дружбы. Скептики — воздерживались от суждений, чтобы избежать заблуждений.

Монтень не выбирает ни один из этих путей. Он не преодолевает, не обходит, не воздерживается. Он делает нечто одновременно более простое и куда более трудное: он просто смотрит. Он смотрит на себя, постоянно меняющегося, и не пытается себя остановить или переделать. Он принимает свою текучесть как данность — не как изъян, который нужно исправить, и не как достоинство, которым стоит гордиться.

Это «просто смотреть» Монтеня — вовсе не пассивность. Это особый род активности, требующий предельной сосредоточенности. Большинство людей заглядывают в себя лишь урывками, между делом, и потому видят мало. Монтень же вглядывался в собственную душу двадцать лет, по несколько часов в день, и потому сумел заметить так много.

И дело вовсе не в том, что у него было больше материала для наблюдений. Этот материал у всех один и тот же — наша собственная жизнь. Разница лишь в том, что Монтень смотрел пристально, а большинство из нас — рассеянно и мимоходом. Внимание — это не врождённый дар, а навык, который можно и нужно развивать. И «Опыты» Монтеня — не просто фиксация увиденного, но и великий учебник внимания.

Чтобы почувствовать, как работает такое внимание, полезно провести небольшой эксперимент. Возьмите любой обычный день, скажем вчерашний, и попробуйте восстановить его в памяти как можно подробнее. Не ограничивайтесь общими мазками вроде «проснулся, позавтракал, пошёл по делам». Постарайтесь вспомнить детали: что именно вы почувствовали в момент пробуждения? Какова была ваша первая мысль? Из-за чего возникла мимолётная вспышка раздражения за завтраком? И почему посреди дня ваше настроение вдруг незаметно переменялось?

Если вы проделаете это честно, то обнаружите, что прожитый день был вовсе не прямой линией, а сложной, прихотливой кривой, сотканной из мгновенных импульсов, случайных мыслей и сомнений. Вы увидите, что в течение всего лишь одних суток успели побывать несколькими совершенно разными людьми. И это не патология — такова естественная природа человеческого сознания. Мы просто не замечаем её, поскольку редко даём себе труд понастоящему в неё вглядеться.

Монтень же — вглядывался. И в этом его главное отличие от Декарта, при всём их глубинном интеллектуальном родстве. Декарт заглянул внутрь себя лишь однажды, сидя в своей знаменитой натопленной комнате, и обнаружил незыблемую точку: «я существую». Монтень всматривался в себя тысячи раз и открыл не точку, а целое пространство — живое, текучее, противоречивое, где нет ничего застывшего. «Я» Декарта — это вершина горы, отчётливо видимая в ясный день. «Я» Монтеня — сама гора, со всеми её скрытыми склонами, глубокими ущельями, извилистыми тропами и густыми туманами. Декарт вывел формулу. Монтень —

набросал карту. И это карта не какого-то одного конкретного человека, а всего человеческого удела в целом.

Здесь необходимо сказать ещё об одном свойстве письма Монтеня, без которого его книга никогда не стала бы тем, чем она стала. Монтень не приукрашивает себя. Это редчайшее качество, особенно среди тех, кто берётся описывать собственную жизнь. Большинство мемуаров в той или иной степени представляют собой апологию: автор защищает себя перед судом потомков и стремится выставить свои поступки в наиболее выгодном свете.

Монтень поступает прямо противоположным образом. Он рассказывает о своих слабостях, страхах и постыдных мыслях, но не из болезненной потребности в самобичевании, а из глубокого желания видеть вещи такими, какие они есть. Он открыто признаётся, что боится смерти, что ленив, что любит вкусно поесть и что в молодости был тщеславен. Он не пытается создать образ идеального мудреца, а изображает реального человека. И тем самым он даёт читателю бесценный пример того, как нужно смотреть на самого себя: без восхищения и без осуждения, а просто видя.

Умение видеть себя без восхищения и осуждения — едва ли не самый трудный человеческий навык. Большинство из нас склонны впадать в крайности: либо идеализировать себя, либо скатываться в самоуничтожение. Но обе эти позиции — лишь способ уйти от правды. Идеализация ослепляет нас перед собственными слабостями, а самоуничтожение не позволяет заметить сильные стороны.

Монтень предлагает третью точку зрения: видеть и свои несовершенства, и свои достоинства, не пытаясь противопоставить их друг другу или свести одно к другому. Это позиция зрелого ума, который сменил внутренний суд на беспристрастное исследование. Отказаться от суда — вовсе не значит утратить моральные ориентиры. Это значит обрести способность ясно видеть вещи такими, какие они есть, задолго до того, как выносить им окончательный приговор.

В этой главе мы увидели, что именно Монтень обнаружил внутри точки Декарта. Он обрёл там не застывшую суть, а живую, изменчивую и противоречивую ткань человеческого бытия. Он показал, что человек — это не вещь, а процесс; не сущность, а история; не точка, а мелодия.

Это открытие влечёт за собой колоссальные следствия для самого «искусства жить». Но одно пока остаётся неясным. Если человек — это непрерывно текущий процесс, то что в таком случае означает «принадлежать себе»? Точка Декарта была пустой, Монтень наполнил её жизнью, но ни тот, ни другой исследователь не дали ответа на вопрос: как человеку-процессу удерживать самого себя? Именно эта дилемма лежит в основе самой знаменитой формулы Монтеня: «Самое великое дело в мире — уметь принадлежать самому себе». Но что значит этот призыв для того, кто знает, что меняется каждую минуту? Об этом пойдёт речь в следующей, пятой главе, завершающей первую часть нашей книги.

Глава пятая. Принадлежать самому себе

«Самое великое дело в мире — уметь принадлежать самому себе». Эта формула, оставленная Монтенем на полях его «Опытов», заслуживает того, чтобы задержаться на ней подольше. Не потому, что она красива. Изяществом философских афоризмов читателя сегодня не удивишь, да и сама красота формы часто служит лишь позолотой для пустоты содержания. А потому, что в этой лаконичной фразе спрессовано всё, о чём шла речь в предыдущих четырёх главах, и всё, о чём пойдёт речь в последующих двадцати.

Сомнение Декарта, самонаблюдение Монтеня, диалектика Гегеля, системный взгляд Энгельса, понимание власти ещё одним автором, чьё имя мы раскрывать не станем — все эти инструменты, каждый по-своему, в конечном счёте служат одной-единственной цели: научить человека принадлежать самому себе. Если из всей этой книги читатель унесёт лишь одну мысль, пусть это будет заповедь Монтеня. Все остальные страницы — не более чем её последовательное развёртывание.

Прежде чем разбирать эту формулу, необходимо очистить её от шелухи ложных толкований. Иначе её слишком легко принять за призыв к эгоизму, замкнутости или высокомерному презрению к окружающим. Между тем подобный взгляд был бы прямо противоположен тому, что имел в виду автор «Опытов».

Принадлежать себе — вовсе не значит любить себя больше других. Это не значит ставить свои сиюминутные выгоды выше чужих интересов. И уж точно не значит отворачиваться от мира, запираясь в башне, подобно самому Монтеню. Находясь в своём затворничестве, Монтень писал о мире и людях, о политике и дружбе, о любви и смерти; его уединение было особой, глубокой формой деятельности, а не бегством от неё.

Он никогда не призывал окружающих копировать его образ жизни. Он говорил о совершенно ином — о внутреннем состоянии, которое одинаково достижимо и в одинокой башне, и на шумном рынке, и на государственном посту, и в кругу большой семьи. Именно это внутреннее устройство он и называл умением принадлежать самому себе.

Принадлежать себе — значит в любом общении, в любой деятельности и в рамках любой социальной роли оставаться тем, кто ты есть, а не превращаться в то, чего от тебя ждут. Грань здесь тонкая, но принципиальная.

Человек, принадлежащий себе, может быть министром, мужем, отцом или другом — и при этом оставаться собой. И напротив: человек, не принадлежащий себе, может жить в полном уединении, в глухом лесу, но быть абсолютно чуждым самому себе. Ведь его мысли, чувства и реакции продиктованы не им самим, а лишь тем, что он когда-то впитал извне: чужими наставлениями, затаёнными страхами, стыдом или ложными надеждами.

Каменные стены не спасают от внутреннего отчуждения, а людская толпа не мешает принадлежать себе. Разница кроется не во внешних обстоятельствах, а во внутренней архитектуре духа.

Чтобы понять, что именно разрушает эту внутреннюю архитектуру, полезно выделить три главных препятствия. Они, разумеется, не исчерпывают всех уязвимостей человеческого духа, но если взглянуть на них пристально, сама механика утраты себя станет предельно ясной. Первое препятствие — чужие мнения, безоговорочно принятые на веру. Второе — социальные роли, в которые человек вырастает настолько глубоко, что перестаёт отличать маску от собственного лица. Третье — слепые страсти, захватывающие нас до такой степени, что человек теряет власть над собой, превращаясь лишь в послушное орудие своих импульсов. К каждому из этих вызовов необходим особый подход, и все нужные противоядия мы уже подготовили в предыдущих главах. Теперь пришло время свести их воедино.

Первое препятствие — чужие мнения. Каждый из нас с детства впитывает сотни суждений о мире, людях и самом себе. Причём большинство из них мы получаем не через прямое назидание, а улавливаем из самой атмосферы: через случайные реплики взрослых, реакцию на наши расспросы, через общественные табу или то, что принято считать само собой разумеющимся.

К двадцати годам человек накапливает огромный багаж таких неосознанных суждений, большинство из которых он никогда не проверял. Они просто существуют в нём, подобно воздуху или стенам комнаты, в которой он вырос. Проблема в том, что эти мнения направляют его мысли и поступки, хотя и не принадлежат ему. Он не выбирал их — они достались ему по наследству от родителей и школы, от приятелей, с экранов гаджетов и из случайных разговоров. Можно прожить всю жизнь, так ни разу и не спросив себя: «А действительно ли я сам так думаю? Или просто исправно транслирую то, что однажды услышал?»

Здесь-то и вступает в силу метод Декарта, о котором шла речь во второй главе. Его методическое сомнение [добровольный и последовательный отказ принимать на веру любые убеждения, пока они не докажут свою неоспоримость] — это скальпель, вскрывающий наслоения чужих суждений. Применить его к себе — значит проделать простую, но мучительную работу: выписать всё, что кажется собственным мнением по ключевым темам, и к каждому пункту обратить беспощадный критерий: «Действительно ли это мой вывод, или я его перенял?» А если перенял — что я сам понимаю и чувствую, когда остаюсь в тишине и размышляю предельно честно?

Очень часто обнаруживается, что наше мнимое мнение при ближайшем рассмотрении обращается в прах: мы не можем его логически обосновать, теряемся при простейших вопросах и не способны отличить его от противоположной позиции, которую сами же с негодованием отвергаем. Значит, оно — не наше. Оно лишь обитает внутри, как незваный жилец, не имеющий прописки в доме нашего ума. Метод Декарта как раз и учит выселять таких постояльцев или, по меньшей мере, ясно осознавать, что они — лишь временные квартиранты, а не полноправные хозяева дома.

Умение проводить эту грань — между подлинно своим и тем, что лишь прижилось внутри, оставаясь чужеродным, — одно из самых ценных обретений человека. Большинство людей этой границы не видят. Они искренне убеждены, что каждое их суждение — результат личного выбора: раз они что-то утверждают, значит, сами к этому пришли.

В действительности же огромная часть наших убеждений заимствована, пусть и прочно усвоена. И в этом нет никакого греха — таково нормальное устройство человеческой психики, естественный механизм социальной адаптации. Никто не рождается с готовой системой политических или эстетических взглядов, мы неизбежно перенимаем их у своего окружения.

Проблема возникает тогда, когда человек перестаёт это осознавать. Он начинает принимать чужие клише за собственные откровения, отстаивая унаследованные предрассудки с яростью, достойной лучшего применения.

Человек, принадлежащий себе, вовсе не обязан обладать исключительно оригинальными мыслями — это было бы утопично и нелепо. Его подлинная свобода проявляется в другом: он чётко отдаёт себе отчёт, какие из его взглядов выстраданы личным опытом, а какие — приняты в готовом виде, и относится к ним соответствующим образом. Своё он готов отстаивать до конца, а заимствованное — без лишних эмоций пересматривает, сталкиваясь с весомыми аргументами.

Чтобы увидеть, как это работает на практике, представим двух людей, оказавшихся в эпицентре одного и того же ожесточённого спора.

Один из них — назовём его Арефой Коськовым — вырос в среде, где определённые взгляды на историю и общество считались непреложной истиной. Он никогда не подвергал их сомнению; эти догмы стали для него частью собственного тела, фундаментом его лично-

сти. Поэтому, когда оппонент начинает их оспаривать, Арефа воспринимает это как личное оскорбление, как покушение на самого себя. Он мгновенно закипает, переходит на крик и напрочь теряет способность слышать чужие доводы. Не он владеет своими мнениями — это мнения безраздельно владеют им.

Совсем иначе ведёт себя другой человек — скажем, Томила Решетилова. В своё время она провела строгую ревизию ума по методу Декарта. Томила отчётливо знает, какие из её убеждений действительно принадлежат ей — выкованы в долгих раздумьях, проверены фактами и пропущены через горнило внутренних сомнений, — а какие достались ей лишь в наследство от родительского дома или студенческой среды.

В споре она не впадает в ярость, а внимательно слушает. Если оппонент атакует её собственную, выверенную позицию, она спокойно отвечает аргументами, поскольку твёрдо знает, на чём стоит её логика. Если же под сомнение ставится чужое мнение, которое она когда-то впитала, но так и не сделала частью своего «я», она способна без тени обиды произнести: «Знаете, я всегда так думала, но, возможно, вы правы. Мне нужно над этим поразмышлять».

Томила принадлежит себе, а Арефа — нет. И этот глубокий водораздел пролегает не в плоскости их политических или исторических позиций, а в их отношении к собственному разуму.

Второе препятствие на пути к себе — социальные роли. Каждый из нас ежедневно примеряет множество масок: профессионала, родителя, гражданина, прихожанина, соседа или друга. Каждая из них диктует свои правила игры: особый шаблон поведения, специфический лексикон, дозволенные чувства, дресс-код, даже мимику и интонации. Сами по себе роли — вовсе не зло. Это необходимый каркас общественной жизни, без которого любое человеческое общение мгновенно погрузилось бы в хаос.

Беда начинается тогда, когда не человек играет роль, а роль начинает управлять человеком. Когда он забывает, кто он такой без своего привычного амплуа, и теряет способность существовать вне его. В этот момент маска перестаёт быть театральным реквизитом, который можно легко снять после занавеса, и превращается в лицо, намертво сросшееся с черепом.

Монтень на страницах своих «Опытов» со смесью грусти и иронии то и дело возвращается к этому феномену. Он живописует государственных мужей, которые, лишившись постов, впадают в ступор и не знают, чем занять внезапно освободившиеся часы; отцов, чьи дети выросли, оставив их один на один со своей внутренней немотой; кабинетных учёных, которые вне стен своих библиотек чувствуют смертельную тоску, и военных, неспособных отыскать смысл в мирной тишине. Все они растворились в собственных функциях. Стоит внешним обстоятельствам сорвать с них эти декорации, как под ними открывается звенящая пустота.

Вернее сказать, там обнаруживается человек, который никогда в жизни не мыслил себя в отрыве от своего социального предназначения и потому не имеет ни малейшего представления о том, кто же он на самом деле. Это одна из самых коварных ловушек потери себя: пока у человека есть статус, должность или авторитет, он кажется себе абсолютно цельным и благополучным. Но стоит атрибутам власти или востребованности исчезнуть, как наступает катастрофический внутренний крах. А роли уходят неизбежно — от старости, болезней, смены эпох или по нелепой воле случая.

Монтень предлагает противоядие от этого недуга, и заключается оно не в бегстве от общества, а в мудрой, слегка отстранённой позиции по отношению к собственным обязанностям. Можно играть роль, не сливаясь с ней до конца. Можно быть министром, ясно осознавая: «Я — не министр». Министр — это лишь временный статус, внешняя функция, тогда как ты — человек, который эту функцию сейчас отправляет. Можно быть отцом, помня, что ты не сводишься к отцовству. Это великая роль, но ты — прежде всего личность, которая эту роль проживает.

Подобное внутреннее дистанцирование ничуть не мешает справляться со своими обязанностями; напротив, оно делает эту игру неизмеримо более глубокой, зрелой и свободной. Министр, понимающий, что он не тождественен своему креслу, не впадает в панику при потере поста — он спокойно возвращается к самому себе и продолжает жить. Отец, не растворяющийся в родительстве без остатка, не ломается, когда дети вырастают и покидают гнездо; он сохраняет свою автономию и выстраивает с ними новые, уже взрослые отношения. Роль, не приросшая к коже, не ранит человека, когда её срок истекает.

Этот навык Монтеня — умение носить социальную маску, не позволяя ей поглотить себя, — одно из самых плодотворных обретений для нашего ума. Оно спасает не только в моменты масштабных жизненных потрясений, будь то потеря работы, развод, выход на пенсию или крах карьеры, но и в повседневной рутине.

Каждый день мы примеряем разные амплуа: на работе мы одни, в семье — другие, в компании друзей — третьи, а наедине с собой — четвёртые. Человек, слепо отождествляющий себя с текущим моментом, обречён на вечную суету и полную зависимость от внешнего контекста — он просто не замечает собственной разорванности. Тот же, кто разделяет себя и свою роль, остаётся неизменным в любых обстоятельствах. Он переходит от маски к маске плавно, не теряя внутреннего стержня. Это не значит, что он везде ведёт себя одинаково; это значит, что в каждой роли в полную силу присутствует он сам. В этом и заключается искусство принадлежать себе в театре социальных масок.

Третье препятствие — собственные страсти. В этом пункте Монтень парадоксальным образом сближается со стоиками — философской школой, учившей, что главная задача человека заключается в управлении своими реакциями на внешние события и сохранении внутреннего покоя. И хотя автор «Опытов» постоянно полемизирует со стоицизмом по множеству частных вопросов, отвергая его суровую аскезу, в главном они сходятся.

Человек, ослеплённый гневом, ревностью, паническим страхом, тщеславием или азартом, больше не принадлежит себе. Он становится заложником своей страсти. В этот момент он теряет способность рассуждать, выбирать и взвешивать последствия — он слепо подчиняется импульсу. А позже, когда эмоциональный пожар утихает, человек часто недоумевает: «Как я мог так поступить?» Страсть — это временное, но абсолютное порабощение духа силой, которая не имеет ничего общего с нашим истинным «я».

При этом Монтень вовсе не призывает к полному бесстрастию — тому ледяному идеалу, который стоики возвели в абсолют и который философ считал противоестественным для живой человеческой природы. Он сам открыто признавался, что легко закипает, не способен к долгому самообладанию, а его собственные чувства часто бывают бурными и резкими. Но он настаивал на другом, куда более реалистичном условии: необходимо хотя бы отдавать себе отчёт в том, в каком состоянии ты сейчас находишься.

Осознание себя в момент аффекта — это уже гигантский шаг к возвращению контроля. Тот, кто в разгар слепой ярости способен поймать себя на мысли: «Я сейчас в гневе», — уже не раб этого чувства. В нём пробуждается внутренний наблюдатель, который смотрит на бурю со стороны и не сливается с ней. Эта позиция и есть та самая точка Декарта, о которой мы говорили в третьей главе: чистое сознание, не тождественное своему сиюминутному наполнению. Пусть в пылу эмоций оно затуманено и отодвинуто на дальнюю периферию, но не уничтожено. И человек, научившийся фиксировать это присутствие, всегда может вернуться к нему, как к тихой, надёжной гавани.

В этой точке пути Декарта и Монтеня пересекаются самым неожиданным и плодотворным образом. Знаменитое декартово *cogito* [«я мыслю, следовательно, я существую»] в применении к стихии чувств означает следующее: я больше не равен своей страсти, поскольку являюсь тем, кто её осознаёт. Сознание никогда не сводится к своим сиюминутным состояниям, а наблюдатель не тождествен объекту наблюдения.

Эта идея Декарта, которую Монтень развивал на протяжении двадцати лет кропотливого самонаблюдения, предлагает нам практический способ совладания со страстями: их не нужно подавлять слепым волевым усилием или высокомерно отрицать, но не стоит и сливаться с ними без остатка. Достаточно просто замечать их и называть своими именами. Осознавать их присутствие, но твёрдо помнить: они — это не я.

Когда гнев внутри кричит: «Ударь!», можно спокойно ответить ему: «Я вижу твою ярость, но я — это не ты, и мой выбор — сдержаться». Когда страх шепчет: «Беги!», можно возразить: «Я слышу тебя, но я — это не ты, и я выбираю остаться». Конечно, это удаётся не всегда: порой волна аффекта прорывает плотину разума. Но в те драгоценные мгновения, когда этот приём срабатывает, человек возвращает себе истинную власть над собой, даже находясь в самом эпицентре бури.

Все три препятствия — чужие мнения, социальные роли и слепые страсти — имеют один и тот же корень. В каждом из этих случаев мы совершаем одну фундаментальную ошибку: отождествляем себя с тем, что нам чуждо. С мнением, случайно уловленным из воздуха; с ролью, навязанной общественным театром; со страстью, временно оккупировавшей наше тело и разум. И исцеление везде одинаково: необходимо научиться отделять подлинно своё от того, что лишь временно квартирует внутри нас или пытается действовать через нас.

В этом поиске метод принадлежит Декарту, а живой материал — Монтеню. Декарт вооружил нас инструментом: его методическое сомнение, доведённое до абсолютной прозрачности, доказывает, что за любыми мыслями и переживаниями всегда скрывается чистый наблюдатель. Это не чьё-то суждение, не маска и не вспышка эмоций, а тот первозданный субъект, перед взором которого все они разворачиваются. Монтень же наполнил эту строгую форму жизнью: десятилетия автобиографических поисков доказали, что в фигуре наблюдателя нет ничего мёртвого или статичного. Напротив, это живая, изменчивая и глубоко противоречивая ткань бытия, сложная мелодия с узнаваемыми лейтмотивами и бесконечными вариациями.

Декарт подарил нам незыблемую точку опоры, а Монтень составил подробную карту той удивительной вселенной, которая в этой точке обитает.

Таким образом, принадлежать себе вовсе не означает быть кем-то раз и навсегда зафиксированным. Иначе мы снова впали бы в иллюзию статичного, монолитного «я», от которой Монтень нас так бережно излечил.

Принадлежать себе — значит ежеминутно сохранять бдительность: способность отделять подлинно своё от наносного, умение играть социальную роль, не превращаясь в неё, и готовность вовремя заметить страсть, не позволяя ей ослепить разум. Это не застывшее состояние, а непрерывная практика. Не вершина горы, на которую можно однажды взойти и остаться там жить, а тропа, которую приходится прокладывать каждый день. И в этом кроется парадоксальная — горькая, но освобождающая — правда, которую Монтень прекрасно сознавал: обрести себя раз и навсегда невозможно. Быть собой можно только сегодня. А завтра утром всё придётся начинать сначала.

Однако у этой требовательной правды есть и светлая, утешительная сторона. Если бы верность себе завоёвывалась раз и навек, она оставалась бы уделом избранных — тех, кому посчастливилось родиться с уникальным складом ума или оказаться в исключительных жизненных обстоятельствах. Но поскольку подлинная принадлежность себе — это ежедневная практика, доступная в любую секунду, сама эта задача глубоко демократична.

Не нужно быть гениальным мыслителем, монахом-затворником или аристократом в родовом замке, чтобы подвергать вещи сомнению, наблюдать за собой и проводить внутренние границы. Для этого требуются лишь предельная сфокусированность и готовность смотреть на себя честно — без жалости, но и без жестокости. В этом отношении призыв Монтеня — пожалуй, самый демократичный манифест в истории европейской мысли. Ему совершенно не нужны внешние декорации. Ему достаточно вашего внутреннего решения.

Завершая эту главу — а с ней и всю первую часть книги, — необходимо подвести итог нашим обретениям. За прошедшие пять глав мы освоили три фундаментальных инструмента.

Первый — методическое сомнение Декарта: умение тестировать любое убеждение, отделять своё от наносного и не принимать на веру то, что не выдерживает света разума. Второй — метод Декарта: способность двигаться от ясности к ясности, делить сложное на простое, собирать из простых элементов масштабное целое и доводить начатое до логического завершения. Третий — самонаблюдение Монтеня: умение всматриваться в себя честно, без приукрашивания и самоуничтожения, принимая свою изменчивость и не цепляясь за иллюзию статичной сути. Эти три инструмента универсальны: они применимы в любой сфере — от выбора профессии до оценки исторических масштабов, от разбора семейной ссоры до понимания сложнейших научных теорий.

Однако есть то, чего с их помощью сделать нельзя: они не позволяют увидеть мир вокруг. Эти инструменты обращены исключительно внутрь; они помогают расчистить разум от ментального шума и вернуть человеку субъектность. Но они не дают картины реальности, в которой этому разуму предстоит жить и действовать. Сомнение Декарта защищает от чужого влияния, самонаблюдение Монтеня спасает от потери себя. Но ни то, ни другое не показывает, как устроен мир за границами нашего сознания.

А разум, очищенный и обретший внутреннюю опору, в какой-то момент неизбежно поднимает глаза и обращает взор вовне. Он жаждет понять: что есть реальность? Как она устроена? Как в ней всё связано со всем и почему мир таков, а не иной? Без ответов на эти вопросы даже самый просвещённый ум остаётся незавершённым. Он филигранно владеет собой, но у него всё ещё нет масштабного предмета, на который он мог бы направить свою силу.

Этот грандиозный разворот от глубин разума к познанию внешнего мира и составит содержание второй части нашей книги. В ней речь пойдёт о Георге Вильгельме Фридрихе Гегеле — пожалуй, самом сложном, но и самом концептуально богатом из мыслителей, чьё наследие мы исследуем.

Гегель развернёт перед нами картину реальности как непрерывного, живого процесса. Он докажет, что мир лишён статики, что суть любого явления кроется в его становлении, а противоречие — это не ошибка логики, а её главный двигатель. Развитие, согласно его философии, движется не по прямой линии, а по восходящей спирали.

Эти идеи подготовят почву для третьей части, в которой Энгельс систематизирует законы диалектики, и для финальной, четвёртой части, где ещё один скрытый автор продемонстрирует, как диалектический взгляд работает в самой сложной и запутанной из систем — в человеческом социуме и архитектуре реальной власти.

Но всё это — впереди. Сейчас же, на пороге второй части, читатель уже обрёл то главное качество, без которого невозможно приступить к изучению вселенной: он научился владеть собой. Сомнение, метод, самонаблюдение, *cogito* и подлинная принадлежность себе — таков несокрушимый фундамент, заложенный в первых главах. Именно на этом прочном основании и вырастет всё дальнейшее здание нашей книги.

Давайте теперь шагнём во вторую часть, где мир, который мы до сих пор оставляли за скобками, во всём своём грозном и прекрасном многообразии наконец предстанет перед нашим взором.

ЧАСТЬ II. ДВИГАТЕЛЬ РЕАЛЬНОСТИ

Глава шестая. Мир, который никогда не спит

Первая часть этой книги была посвящена уму, обращённому внутрь себя. Мы научились сомневаться в чужих мнениях, выстраивать движение мысли по строгим правилам, находить несомненную точку собственного существования, всматриваться в свою изменчивую природу и удерживать власть над самим собой. Эти пять обретений — сомнение, метод, *cogito*, самонаблюдение и автономия — образуют тот фундамент, на котором только и может стоять мыслящий человек.

Но фундамент — ещё не здание. Разум, безраздельно владеющий собой, но лишённый картины реальности, в которой ему предстоит жить и действовать, напоминает путника, который твёрдо стоит на ногах, но понятия не имеет, куда идти. Во второй части книги мы наконец развернём взгляд вовне. Мы попробуем увидеть мир. И первым нашим проводником в этом интеллектуальном путешествии станет Георг Вильгельм Фридрих Гегель — самый сложный и, пожалуй, самый плодотворный из пяти великих умов, чьё наследие мы разбираем.

Гегель — отвратительный рассказчик. Его тексты тяжеловесны, синтаксис мучительно запутан, а термины громоздятся друг на друга, словно каменные глыбы. Современники не без яда шутили, что для понимания Гегеля необходимо перестать быть человеком здравого смысла. В этой злой шутке скрывается глубокая правда: обыденный рассудок действительно буксует на гегелевских страницах.

Но беда здесь не в Гегеле, а в самом здравом смысле. Он представляет собой лишь совокупность ментальных привычек, выработанных для нужд повседневной практики. В своей плоскости он превосходен: чтобы безопасно перейти улицу, философом быть не обязательно. Но для постижения подлинного устройства бытия здравого смысла категорически недостаточно. Он привык воспринимать вещи как изолированные и застывшие, в то время как реальность, в чём мы вскоре убедимся, соткана из непрерывного движения и связей.

Гегель требует от читателя радикального шага — готовности отказаться от уютных шаблонов обыденного мышления и научиться видеть совершенно иначе. Но это ментальное усилие окупается сторицей: за непролазной чащей тяжеловесного гегелевского языка таится одна из самых грандиозных и плодотворных мыслей, когда-либо рождавшихся в истории человечества.

На первый взгляд эта мысль кажется обманчиво простой: мир — это процесс, а не склад готовых вещей. Всё существующее непрерывно пребывает в становлении. Ничто не стоит на месте. Любой объект, кажущийся нам неподвижным, при ближайшем рассмотрении обнаруживает внутреннее движение, а всё завершённое оказывается лишь мимолётным кадром в грандиозном потоке бытия.

Эту формулу легко произнести вслух, но неизмеримо труднее перестроить своё восприятие так, чтобы действительно увидеть мир сквозь её призму. Большинство людей, даже соглашаясь с этим принципом на словах, в реальности продолжают воспринимать действительность как статичный набор изолированных предметов. Гегель же требует большего: не просто согласия, а радикальной смены оптики. Этому новому видению и посвящена как эта глава, так и вся вторая часть книги.

Начнём с наблюдения, которое знакомо каждому, но редко домысливается до конца. Представим человека по имени Евдоким. Он смотрит на дерево у обочины и видит именно предмет: у него есть ствол, ветви, густая листва. Оно осязаемо, оно здесь и сейчас. Казалось бы, самый очевидный факт.

Однако дерево, на которое Евдоким смотрит сегодня, уже не совсем то же, что он видел вчера, и не то же, что предстанет перед ним завтра. Вчера на нём было на три листа больше; завтра один из них тронет первая желтизна; через месяц оно полностью сбросит листву; через

год станет чуть выше; через десять лет перерастёт соседний дом, а через век, возможно, превратится в трухлявый сухостой.

Если растянуть наше восприятие во времени — охватить взглядом дни, годы, десятилетия и века, — дерево перестаёт быть статичной вещью. Оно оказывается процессом. И это отнюдь не означает, будто дерева «на самом деле» не существует; это означает, что его бытие разворачивается в динамике, а не в статике предмета. Дерево существует, но само его «существование» тождественно его непрерывному становлению.

Тот же закон управляет и горой, которая кажется нам абсолютным эталоном незыблемости. Она возвышается над долиной миллионы лет — что может быть монументальнее? Однако в масштабе геологических эпох и гора обнаруживает свою динамичную, текучую природу: её породы выветриваются, склоны осыпаются, а дожди и ветры стачивают её вершину метр за метром. Когда-то её не существовало, когда-нибудь она исчезнет без следа. А пока она здесь, в ней ежесекундно происходят изменения — просто слишком медленные для нашего восприятия.

Этот принцип пронизывает всё: реку, непрестанно меняющую своё русло; город, который растёт, перестраивается, ветшает и вновь восстаёт из пепла; государство, проходящее неизбежный путь от зарождения и расцвета до дряхления и распада. Наконец, самого человека — от младенчества до заката дней. Любая вещь при пристальном взгляде оказывается не статичным объектом, а процессом. Она не просто «является» процессом [будто это её временное свойство] — она им есть. Её бытие и есть её непрерывное становление.

Разумеется, это наблюдение не ново. Первым его кристально чётко сформулировал Гераклит Эфесский ещё на рубеже VI и V веков до нашей эры. Именно ему принадлежит знаменитый тезис о том, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, ведь и вода в ней будет уже другой, и сам входящий изменится. Он уподоблял реальность живому пламени — вечно горящему и вечно иному.

Эти образы прочно вошли в плоть европейской культуры; заезженную формулу «всё течёт, всё меняется» наизусть зазубрили школьники и бездумно тиражируют журналисты. Но повторять — не значит понимать. Большинство из тех, кто с лёгкостью цитирует древнего грека, в глубине души продолжают воспринимать мир как склад застывших предметов, с которыми лишь время от времени что-то случается. Гераклит и Гегель мыслят принципиально иначе: суть не в том, что «вещи меняются». Изменение — это единственная константа реальности, а сами вещи — лишь мимолётные формы, которые оно принимает.

Грань тонка, но принципиальна. Обыденное сознание видит мир статичным: существуют вещи — стулья, деревья, горы, государства — и существуют изменения, которые с ними время от времени приключаются [стул ломается, дерево засыхает, государство распадается]. Здесь вещи первичны, а перемены вторичны. В оптике же Гераклита и Гегеля всё устроено с точностью до наоборот: первично само движение, а вещи — лишь застывшие мгновения в его неостановимом потоке.

Вспомним кинематограф. Из чего состоит фильм? Обыватель скажет: из набора статичных кадров, а движение рождается где-то между ними. Гегель же ответил бы, что фильм соткан из самого движения, а отдельные кадры — лишь искусственные срезы, которые мы насильно выхватываем из потока, чтобы рассмотреть поближе. Жизнь — это не пунктир из остановок, а непрерывный импульс. Сами же остановки — не более чем ментальные абстракции, удобные для анализа, но не имеющие ничего общего с живой реальностью.

Эта интуиция — приоритет изменения над статикой — и стала отправной точкой всей гегелевской философии. Однако немецкий мыслитель не остановился на простой констатации. Он задал вопросы, которыми его древнегреческий предшественник не задавался: как именно всё течёт? Какие универсальные формы принимает это изменение? Существует ли в нём поддающийся расшифровке ритм? Можно ли помыслить закон превращения как таковой?

Из этих монументальных вопросов и выросла «Наука логики» — самый сложный и глубокий труд Гегеля. Вопреки названию, это не школьный учебник по правилам формального мышления. Это грандиозная попытка описать архитектуру самого бытия, увиденного как процесс. Гегель стремился доказать: если смотреть на реальность как на становление, то в ней обнаруживается не хаос и беспорядок, а строгая внутренняя логика и закономерное развитие.

Наша книга не претендует на полный пересказ «Науки логики» — такой компендиум занял бы больше места, чем весь этот том. Но ухватить ключевую гегелевскую мысль нам необходимо, поскольку без неё вся дальнейшая логика книги останется недоступной.

Чтобы постичь эту идею, необходимо провести одно разграничение, без которого вся дальнейшая логика повиснет в воздухе. Речь идёт о различии между бытием — простым фактом существования вещи, её статичным присутствием — и становлением, то есть процессом, в котором эта вещь зарождается, длится и угасает.

Обыденное мышление постоянно путает эти понятия. Мы констатируем: «Дерево есть», воспринимая это «есть» как застывший, неизменный факт. На самом же деле дерево ни секунды не пребывает в покое, оно всегда становится: сначала прорастает из жёлудя, затем наливается силой, постепенно увядает и, наконец, обращается в труху. Подлинная реальность дерева заключается не в том, что оно статично «существует», а в самом этом непрерывном движении. Гегель настаивает: истинная реальность — это не бытие, а становление. То, что мы привыкли называть бытием, — всего лишь стоп-кадр в фильме, который на самом деле крутится без остановки.

Это философское разделение может показаться сугубо абстрактным, но оно имеет самое прямое отношение к нашей повседневной жизни. Огромная часть наших разочарований и душевных драм проистекает именно из того, что мы ошибочно принимаем эти стоп-кадры за единственно возможную реальность.

Мы влюбляемся и отчаянно хотим, чтобы человек навсегда оставался в точности таким, каким мы его встретили. Но он меняется: трансформируются его интересы, привычки, взгляды, тело и чувства. Не осознавая, что мы намертво уцепились за один-единственный снимок из прошлого, мы начинаем мучительно страдать, когда жизнь неизбежно переворачивает страницу. «Он стал совсем другим!» — бросаем мы горький упрёк, видя в естественных переменах чуть ли не предательство. Хотя на самом деле человек вовсе не «стал другим» — он всегда был процессом, просто раньше мы упорно отказывались это замечать.

То же самое происходит, когда мы находим отличную работу и подсознательно ждем, что этот комфорт продлится вечно. Но перемены происходят и здесь: реструктурируется компания, уходят старые и приходят новые коллеги, взрослеем и развиваемся мы сами, эволюционирует внешний рынок. И когда некогда любимое дело перестаёт нас устраивать, мы чувствуем себя обманутыми. Но никакого обмана не было — мы просто в очередной раз перепутали мимолётный кадр с вечным двигателем реальности.

Этот закон управляет не только частной жизнью, но и бытием всего социума. Люди склонны отчаянно цепляться за привычные социальные уклады, словно те дарованы им навечно. Политические режимы, экономические модели, культурные институты — всё это кажется незыблемым, пока оно существует. Но когда они рушатся, общество застывает в глубоком недоумении: как подобное вообще могло произойти?

Однако крах не случается в одночасье. Всякая система изначально была процессом, а видимость её стабильности — лишь следствие нашей ментальной слепоты. Римская империя казалась современникам вечной, но она была процессом, который неудержимо двигался к своему финалу задолго до того, как готы вошли в ворота Рима. Советский строй представлялся его строителям монолитом, но он оставался процессом, который неуклонно шёл к краху задолго до того, как над Кремлем спустили красный флаг. Любая социальная форма — лишь краткий

миг в грандиозном историческом потоке. Понимать это — значит избавить себя от шока при неизбежных переменах и не цепляться судорожно за декорации, чьё время безвозвратно ушло.

Здесь, однако, необходима принципиальная оговорка, без которой философию Гегеля легко истолковать превратно. Признание мира процессом вовсе не означает, что нужно безропотно сдаться стихии и опустить руки. Гегель далёк от фатализма — учения о том, будто всё предопределено заранее, а воля человека ничего не способна изменить.

Напротив: тот, кто понимает логику изменений, получает возможность участвовать в них осознанно и созидательно. Представьте опытного мореплавателя. Он твёрдо знает, что море никогда не бывает статичным: ветры сменяют друг друга, течения разворачиваются, тучи сгущаются, а характер волн меняется каждую минуту. Но именно это знание позволяет ему так виртуозно ставить паруса, чтобы корабль шёл к намеченной цели. Горе-морьяк же наивно полагает, будто водная гладь неизменна, — и закономерно идет ко дну при первом же шторме.

Осознание того, что мир есть непрерывное движение, не парализует волю. Оно дарует человеку способность действовать созвучно этому движению, а не наперекор ему.

Земледелец не воюет с природой — он изучает её циклы и бережно направляет их, чтобы в итоге собрать урожай. Он прекрасно понимает, что не в силах заставить зерно прорасти посреди январских морозов, но чётко знает время для сева, прополки и жатвы. В результате его труд органично вплетается в естественный ход вещей, а не пытается его переломить.

Этот же принцип применим и к социальной реальности. Те, кто улавливает логику окружающих их общественных процессов, действуют точно и осмысленно. Те же, кто слеп к ней, обречены либо идти ко дну, либо растрачивать свои силы вхолостую.

Разграничение между слепой покорностью и осознанным соучастием — пожалуй, главный вывод, к которому подводит нас эта логика. Большинство людей неизбежно балансирует между двумя опасными крайностями.

Первая крайность — фатализм. Видя масштаб и стремительность мировых перемен, человек опускает руки и делает безвольный вывод: «От нас всё равно ничего не зависит, будь что будет». Это соблазн слабого, утомлённого разума.

Вторая крайность — волюнтаризм. Это слепая вера во всемогущество человеческого «хочу», которая напрочь игнорирует реальные обстоятельства. Одержимый ею человек самонадеянно воображает, будто может переписать историю под любую свою прихоть, стоит лишь приложить побольше усилий. Это соблазн ума самоуверенного, и он неизбежно разбивается о скалы реальности.

Гегель предлагает третий, подлинно мудрый путь: глубоко осмыслить природу процесса и действовать внутри него, филигранно используя его же внутренние силы, а не сражаясь с ними вслепую.

Чтобы почувствовать, как гегелевский подход работает на практике, полезно применить его к повседневности — например, к человеческим отношениям, сфере максимально близкой, но и самой коварной.

Человек без диалектического чутья воспринимает союз как статичную вещь: для него чувства либо «есть», либо их «нет», и они обязаны навсегда остаться такими же, какими были в самом начале. Любые неизбежные перемены — угасание первоначальной страсти, несовпадение интересов или банальную усталость — он трактует как катастрофу и крах того, что «должно быть». Тот же, кто вооружён гегелевской оптикой, мыслит принципиально иначе. Он сознаёт, что любые отношения — это живой процесс, который развивается, трансформируется, проходит через неизбежные кризисы, затухает и порой возрождается в совершенно новом качестве. При первых метаморфозах такой человек не поддаётся панике. Вместо этого он пытается понять, в какой именно фазе находится союз, куда он движется и как направить это движение во благо. Он действует не наперекор шторму, а внутри него, что в корне меняет характер его решений.

Взглянем на конкретный пример — супружескую пару, Любомиру и Мануйлова. В первые годы брака Любомира видит их союз как нечто застывшее и данное раз и навсегда. Но вот Мануйлов уходит с головой в новое дело и начинает проводить на работе гораздо больше времени. Любомира впадает в панику, решая, что любовь испарилась, а их брак разрушен. Она судорожно цепляется за «стоп-кадр» медового месяца, мучительно переживая из-за того, что реальность посмела измениться.

Обладая Любомира диалектическим видением, она сразу поняла бы: их союз просто перешёл на следующий этап, где ослепляющая страсть естественным образом уступает место более глубокой, зрелой и прочной связи. Её шаги диктовались бы не уязвлённым эго и страхом, а мудрым пониманием — и именно это спасло бы их брак от неминуемого раскола.

Ещё один наглядный пример — воспитание детей. Родитель, обделенный диалектическим чутьём, воспринимает ребёнка как застывший объект: у того якобы есть неизменный характер и раз и навсегда очерченный потолок возможностей. Если чадо проявляет лень, такой взрослый уверен, что оно ленивым и останется; если одарено — будет успешным по умолчанию. Исходя из этой иллюзии родитель и действует: ругает за проступки, хвалит за таланты, но в обоих случаях его реакция адресована мёртвой, статичной маске, а не живому человеку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.